

ГРАНИ

GRANI

116

1980

Verlagsort: Frankfurt/M., April-Juni

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность опубликовать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее, ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек — часть органического целого; человечества. Совершенствуется часть — совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову — Слову Правды.

*Е. Романов
Грани № 1, 1946*

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXV

№ 116

1980

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Иван ЕЛАГИН – Память 5
Яков ХРОМЧЕНКО – Ворота фараона 27

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

- Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ – Тоска по Армении 38

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Виолетта ИВЕРНИ – Каждый равен своему выбору 184
Альберт ОПУЛЬСКИЙ – Советские переводчики
болгарской поэзии. Веселин Ханчев на рус-
ском языке 193

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

- Игумен ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ) – Русский
мессианский прототип по учению В. Шубарта 224
Елена ДРЫЖАКОВА – Против себя самого.
А. Герцен и нравственные проблемы
социализма 235

БИБЛИОГРАФИЯ

- Юрий Иофе. „Полтысячи имен” 270

Обложка работы художника Н. Мишаткина

© 1980 by Possev-Verlag
V. Gorachek K.G., Frankfurt am
Издательство «П о с е в

Иван ЕЛАГИН

Память

*... в воскресном театре души
Мемуарные фильмы идут.*

Вглядываюсь, дверь туда открыв,
Где хранится времени архив.
Замелькали кадры прошлых дней
На экране памяти моей.

Киевский Второй Мединститут.
Возле зданий тополя растут.
Кое-как экзамены я сдал,
Но с обществоведением — скандал!
Я не знал каких-то там имен,
Кто, когда и чем был награжден,
И какой очередной прохвост
Получил правительственный пост.
Мой экзаменатор был убит —
Принял сокрушенно-скорбный вид.
„Так. Так. Так.” — он глухо произнес,
Вскинув на меня мясистый нос.
Пятерней он в воздухе потряс:
„Кто же так воспитывает вас?”
Я ответил, несколько смущен,
Что отец. „А где же служит он?”
Отвечаю, точно виноват,
Тихо: „Арестован год назад”.

Тяжело я уходил домой.
На земле был год тридцать восьмой

Мне один знакомый дал совет —
Выбрать медицинский факультет.
„Знаешь, нам не миновать войны,
Доктора поэтому нужны.
Все равно, мой милый, — на литфак
Ты теперь не попадешь никак.
У кого в семье аресты — там
Близко не подпустят к воротам,
Ну, а в медицинский институт
Без разбора всех мужчин берут”.
Признаюсь, что я в большой тоске
Подходил к огромнейшей доске,
На которой сказочно цветут
Списки тех, кто принят в Институт.
Видно, я в рубашке был рожден:
В этом длинном перечне имен —
И мое! Я удивлялся сам,
Не поверил я своим глазам!

Вот внезапно мой экран погас.
Память прерывает свой показ.
Только в тот же миг на полотне —
Крыши, окна и стена к стене.
Это тоже город над рекой,
Только над рекой совсем другой.
Вон мальчишка с удочкой в руке
По камням с отцом спешит к реке.
Мне пошел одиннадцатый год.
За плотом плывет по Волге плот.
Года два еще придется нам
Прыгать по саратовским камням.
Мой отец тут в ссылке. И сейчас
Помню я смешной его рассказ:

„Поезд ночью нас сюда привез,
Без пальто я, а уже мороз.
На вокзале ночевать нельзя.
Вышел на большую площадь я,
И гляжу — в сторонке постовой.
„Где, скажи, браток, участок твой?
Мне бы ночку переспать одну,
Завтра что-нибудь себе смекну”.
Но браток мой оказался строг,
Говорит: „Проваливай, браток,
А не то себе накличешь бед,
Для тебя у нас ночлежек нет!”
Не спеша, булыжник небольшой
Выворотил я из мостовой.
„Видишь, — говорю, — вон там окно:
Ах, как зазвенит сейчас оно!”
Постовой вскипел, как на угле;
Я ту ночь пересидел в тепле!”

Памяти экран опять потух.
Напрягаю внутренний я слух.
Вспыхнула картина в голове,
Как я беспризорничал в Москве.
Мой отец, году в двадцать восьмом,
В ресторане учинил разгром,
И поскольку был в расцвете сил —
В драке гепеушника избил.
Гепеушник этот, как назло,
Окажись влиятельным зело,
И в таких делах имел он вес —
Так бесшумно мой отец исчез,
Что его следов не отыскать.
Тут сошла с ума от горя мать,
И она уже недели две
Бродит, обезумев, по Москве.
Много в мире добрых есть людей:

Видно, кто-то сжалился над ней,
И ее, распухшую от слез,
На Канатчикову дачу свез.
Но об этом я узнал поздней,
А пока что — очень много дней
В стае беспризорников-волков
Я ворую бублики с лотков.
Но однажды мимо через снег
Несколько проходят человек,
И — я слышу — говорит один:
„Это ж Венедикта Марта сын!“
Я тогда еще был очень мал,
Федора Панферова не знал,
Да на счастье он узнал меня.
Тут со мною началась возня.
Справку удалось ему навесьть,
Что отцу досталось — минус шесть,
Что отец в Саратове — и он
Посадил тогда меня в вагон
И в Саратов отрядил к отцу.

Все приходит к своему концу:
Четверть века отшумит — и вот
О моих стихах упомянет
В Лондоне Панферов — но пойдет
Все на этот раз наоборот:
Он теперь не будет знать, кто я!
У судьбы с судьбой игра своя.

Снова Волга. Волга и паром.
Мы уже на берегу другом.
Чистенькие домики. Уют.
Немцы тут поволжские живут.
Был Покровском город наречен,
Энгельсом теперь зовется он.
У Вогау мы сидим в гостях.

На столе сирень в больших кистях.
Говорил о Токио Пильняк;
Мой отец припомнил случай, как
Он, когда был очень молодым,
Вместе с переводчиком своим
Шел по Кобе. Поглядев назад,
На себе поймал он чей-то взгляд.
Он японку заприметил там,
Что плелась за ними по пятам.
Чувствовал неловкость мой отец;
Он и переводчик, наконец,
Улицу поспешно перешли.
Но отец опять ее вдали
Увидал — и, очень раздражен,
Переводчику заметил он:
„С нею не разделаться никак!”
Тот ответил: „Ну, какой пустяк!
Ты не обращай вниманья на
Женщину. Она моя жена”.

А когда пришла пора вставать,
Уходить домой, — Пильняк печать
Вынул из коробочки — и хлоп!
Взял да и поставил мне на лоб!
Розовый клинообразный знак
По-японски означал — П и л ь н я к .

Как-то раз в Саратове с отцом
Мы по снежным улицам идем.
Фонари. Снежок. Собачий лай.
Вдруг отец воскликнул: „Николай
Алексеич!” — Встречный странноват —
Шапка набок, сапоги, бушлат.
Нарочито говорит на „о”,
Но с отцом он цеха одного.
— „Вот знакомьтесь — это мой сынок”.

(Снег. Фонарь да тени поперек) .
— „Начал сочинять уже чуть-чуть.
Ты черкни на память что-нибудь
Для него. Он вырастет — поймет”.
Клюев нацарапает в блокнот
Пять-шесть строк — и глухо проворчит
Обо мне: „Ишь как черноочит!”

Клюев был в нужде. Отец ему
Чтение устроил на дому
У врача Токарского. Тот год
Переломным был. Еще народ
Не загнали на Архипелаг,
Но уже гремел победный шаг
Сталинских сапог. И у дверей
Проволокой пахло лагерей.
Тот автограф где теперь найду?
Взят отец в тридцать седьмом году.
Все его бумаги перерыв,
Взяли вместе с ним его архив.
Еще глубже времени экран.
Под Москвой средь рощиц и полян —
Несколько десятков низких дач.
Парни на пруду купают кляч.
А неподалеку за прудом —
Наш необжитой дощатый дом.

Помню, что веранда там была
Вся из разноцветного стекла.
Помню сад, калитку, частокол,
Как впервые в школу я пошел,
Помню, как детьми, оравой всей,
На пруду ловили карасей.
Как в саду я выстроил шалаш...
Помню, как скрипел колодец наш,
Как, загнав в березу желобок,

Собирал березовый я сок
В старую жестянку, как в те дни
На синиц я ставил западни.

Много к нам писательской братвы
Приезжало часто из Москвы.
Кое-кто сегодня знаменит,
Кое-кто сегодня позабыт,
Некоторым жизни оборвал
На Лубянке сталинский подвал.
Только погибать не всем подряд:
Станет кто-нибудь лауреат,
Кто-нибудь приобретет почет
Тем, что по теченью потечет!
Но тогда, в году двадцать седьмом —
Дружеским весельем полон дом.
Тут стихи читают до утра
Небывалых строчек мастера.
Кто-нибудь сидит и пьет в углу,
Кто-нибудь ночует на полу.
Кто-нибудь за кружкой пивной
Прослезился песней затяжной,
Кто-нибудь с протянутой рукой
С хлебниковской носится строкой!
Легкое, богемное житье,
Милое Томилино мое!

Но бывал и скверный анекдот.
Помню — за окошком ночь идет.
Только я и мать одни в дому.
То и дело мать глядит во тьму.
Еще много поездов ночных, —
Может быть отец в одном из них.
На рассвете слышим мы сквозь сон
Разбиваемой бутылки звон.
С матерью выходим в темный сад.

Слышим — сверху голоса хрипят.
Тут мы замечаем: среди ветвей
Несколько висит больших теней.
Оказалось — на верхушке там,
Крепко привязав себя к ветвям,
Мой отец с приятелем своим
До рассвета напивались в дым!
Там же в раскореженных ветвях
Ящик с водкой виснет на ремнях!
Аренс Николай — поэт-чудак,
Затевал он вечно кавардак,
И наверное придумал он
На сосне устроить выпивон,
И деревьев шумные верхи
Слушают сейчас его стихи:

„Снежинки белые летали,
Струилась неба бирюза,
А на лице ее сияли
Большие серые глаза”.

Аренс часто попадал в скандал,
Часто в отделенья попадал.
Позже слышал я такой рассказ:
Вышел он из отделенья раз
И припомнил через шесть недель,
Что забыл он с водкою портфель
В камере. А было как назло
Похмелиться нечем! Тяжело!
Аренс, жаждя выпить всем нутром,
В отделенье за своим добром
Кинулся — и канул навсегда,
Сгинул, не оставивши следа.

На экране вспыхнула Нева.
Шпиль Адмиралтейства. Острова.

Сфинксы. Набережная. Дворец.
К Ювачеву взял меня отец.
Несколько о Ювачеве слов.
Был народовольцем Ювачев.
За участие в покушение он
К виселице был приговорен.
Но в тюрьме, пока он казни ждет, —
У него в душе переворот,
Все он видит под иным углом.
И религиозный перелом
Наступает. Казнь заменена
Ссылкою ему. В те времена
С ссыльными общаться каждый мог;
Был он сослан во Владивосток.
Там у деда моего гостил,
Там отца он моего крестил.
А когда отбыл он ссылки срок —
Взял он страннический посошок
И поехал в Иерусалим,
И ходил по всем местам святым.
Позже о паломничестве том
Очерков издал он толстый том.

Ленинград. Тридцать четвертый год.
Ювачев поблизости живет
На Надеждинской, а мы с отцом
Возле церкви греческой живем.
Ювачеву от властей почет,
И ему правительство дает
Пенсию высокую весьма,
Но считает, что сошел с ума
На религиозной почве он.
Был он собирателем икон.
Был он молчалив, высок и сух,
Этак лет семидесяти двух.
Кропотливо трудится старик,

Медленно с иконы сводит лик
Он на кальку. И таких икон
Тысячи для будущих времен
Он готовит.

С ним в квартире жил
Взрослый сын — писатель Даниил
Хармс. У Дани прямо над столом
Список красовался тех, о ком
„С полным уваженьем говорят
В этом доме”. Прочитав подряд
Имена, почувствовал я шок:
Боже, где же Александр Блок?!
В списке Гоголь был, и Грин, и Бах...
На меня напал почти что страх,
Я никак прийти в себя не мог, —
Для меня был Блок и царь и Бог!
Даня быстро остудил мой пыл,
Он со мною беспощаден был.
„Блок — на оборотной стороне
Той медали, — объяснил он мне, —
На которой (он рубнул с плеча) —
Рыло Лебедева-Кумача!”
„Если так, как Блок, писать нельзя, —
Спрашивал весьма наивно я, —
То кого считать за идеал?”
Даня углубленно помолчал,
Но потом он в назиданье мне
Прочитал стихи о ветчине.

„Повар — три поваренка,
повар — три поваренка,
повар — три поваренка
выскочили во двор!
Свинья — три поросенка,
свинья — три поросенка,
свинья — три поросенка

спрятались под забор!
Повар режет свинью,
поваренок — поросенка,
поваренок — поросенка,
поваренок — поросенка!
П о ч е м у ?
Чтобы сделать ветчину!”

Слушал я его, открывши рот, —
Догадался наконец! Так вот
Чем обэриуты устранят
Из души моей священный яд
Блоковских стихов! В душе моей
Все же Блок окажется сильней.

В комнате у Дани справа — шкаф.
К шкафу подойдя, поклон отдав,
Произносят гости напоказ
Несколько привычных светских фраз:
„Как здоровье, тетушка?” „В четверг
Были на концерте?” „Фейерверк
Видели?” Род легкой болтовни.
Запрещалось всем в такие дни
Грубые употреблять слова.
Но гостей уведомят едва,
Что сегодня дома тетки нет, —
Снят бывал немедленно запрет
С нецензурных тем. Наоборот,
Разрешался сальный анекдот.
Что еще за идиотство! Тьфу!
Тетушка, живущая в шкафу?!
Что с того, что конура мала —
Тетушка придумана была,
Для существования ее
Шкаф — вполне просторное жилье!
Тетушка пригласилась тут ко двору.

Тут любили всякую игру,
Тут был поэтический причал,
Тут поэтов многих я встречал.
А. Введенский был собой хорош,
Хармс — на англичанина похож.
Сколько артистических имен!
Как великолепен Шварц Антон!
Помню в исполнении его
„Невского проспекта” волшебство!

И опять все гаснет. И опять
На экране Киеву сиять.
Моюсь утром, радио включив.
Диктор до чего красноречив!
Слышится по голосу, что рад, —
Так вот о победах говорят!
„...Нашего правительства указ...
За право учения у нас
Вводят плату!” Я совсем обмяк.
Уплатить я не могу никак.
Подкосились ноги у меня.
Только вечером того же дня
Человек от Рыльского пришел,
Пачку денег положил на стол
И сказал: „Максим Тадеич тут
Посылает вам на Институт”.
Он шепнул, уже сходя с крыльца:
„Это в память вашего отца”.

Рыльский был в фаворе. Перед тем
Погибал почти уже совсем
И ареста ожидал не раз.
„Песнею о Сталине” он спас
Жизнь свою и спас свою семью.
Как-то чай у Рыльского я пью.
Кто-то „песню” вскользь упомянул.

Рыльский встал, сдвигая резко стул:
„В доме у повешенного, брат,
О веревке вслух не говорят!”

Мой отец поэтом русским был.
Где сыскать, среди каких могил
Кроется его прощальный след.
Рыльский был украинский поэт.
В час тяжелый он помог семье
Русского поэта. Так в стране,
Где я в годы сталинские рос,
Выглядел на практике вопрос
Межнациональный. Все одной
Связаны бедой. Одной виной.

Вновь твои проспекты, Ленинград.
Обреченно фонари горят.
Кратковремен этот мой приезд.
Мне одно желанье душу ест.
Я привез стихотворений шесть
И мечтал Ахматовой прочесть.
Также и стихи Анстей со мной,
Что была тогда моей женой.
Вот я и пошел. Фонтанный дом
Выглядел обшарпанным. Потом
Пересек я двор наискосок
И вошел в подъезд. На мой звонок
Мне открыла дверь она сама.
Объяснил я путано весьма
Мой приход. „Входите”. Тут нужны
Точные детали: в полстены —
Девушки портрет. Совсем мала
Комната. (Та девушка была
В белом). А Ахматова стройна;
Кажется высокою она.

Я уже предчувствую беду.
„Высылают сына. Я иду
С передачей в тюрьму. Я вас
Не могу принять”

У нас сейчас

„Реквием” об этих страшных днях:
„Реквием” тогда в ее глазах
Я увидел. Кто-нибудь найдет
Со стихами старыми блокнот.

.....

Но вам в тяжелых заботах
Не до поэтов, увы!
Я понял уже в воротах,
Что девушка в белом — вы.

И подавляя муку,
Глядя в речной провал,
Был счастлив, что вашу руку
Дважды поцеловал.

.....

В Киеве, еще перед войной,
Проходили мы по Прорезной.
За дома вдали закат сползал.
Мы спешим в консерваторский зал.
Там Доливо-Соботницкий пел.
Среди всех советских тусклых дел
Праздником бывал его приезд.
Делал он рукою странный жест,
Был он хром и очень большерот...
Присмотреться — так совсем урод!
Необыкновенный баритон —
Пел бетховенские песни он
И норвежских песен целый ряд...
Сколько он ирландских пел баллад,

Бельмановских песен! Так лились
Песни, что казалось — это Лисс
Или Зурбаган! Казалось мне,
Что мы где-то в гриновской стране,
И — казалось — уплывать и нам
Следом за Бегущей по волнам!
Поскорей причаливай, наш бот,
Там, где нас Несбывшееся ждет!

А в антракте — толкотня, галдеж,
А к буфету и не подойдешь.
По соседству, вижу — паренек,
А на куртке — лодочка-значок
С ярко-красным парусом. Яхт-клуб?
Точно. Сомневаться почему б?
А на самом деле все не так:
Это был почти условный знак
Гриновских романтиков! То зов
Юношеских алых парусов!

Слышал я забавный анекдот
О Доливе. Шел двадцатый год.
Пел Доливо где-то. Был хорош
Бесподобно. А в одной из лож —
Сам Шаляпин. Сказочный успех!
Сразу покорила Доливо всех.
Был он молод, счастлив, возбужден, —
Но со сцены почему-то он
Пятится... Друзья Доливу тут
Под руки к Шаляпину ведут.
„Да... — сказал Шаляпин, — ты поешь
Здорово, но — знаешь, милый — все ж
Справь себе штаны: со сцены так
Неудобно пятиться, как рак!“

И для цели благородной сей
Пачку протянул ему рублей.

Предвоенный Киев. Срежь афиш
Есть такие, что не устоишь.
В зале тесно. Гроссман Леонид
О „Войне и мире” говорит.
Кажется — со сцены прямо в нас
Утонченно-выточенных фраз
Дротики летят. В конце почти
Он, итог желая подвести,
Говорит: „Былому не в пример,
В наше время каждый пионер
Обладает истиной простой,
Знает то, чего не знал Толстой!”
А затем (принявши тон иной)
Говорит с усмешкой озорной:
„На весах у вечности еще
Неизвестно, перевесит чье
Мнение!” — Когда он так сказал —
Я подумал: арестуют зал,
Лектора и слушателей! Но
В шутку было все обращено
И благополучно все сошло,
А могло большое выйти зло...

Пострашней, бывало, сходит с рук.
У меня был закадычный друг
Протасевич Жорж. Мы в Институт
Вместе поступали. И маршрут
Жизненный у нас довольно схож:
У него отца забрали тож,
Как и у меня — в тридцать седьмом.
Он пытливым обладал умом,
Книгами был вечно нагружен —
Хемингуэй в портфеле, Олдингтон.

Был он неудачливый боксер,
Но зато был на язык остер.
И — последний не забыть мазок:
Был красив довольно и высок.
Между нами — Пушкин бы сказал —
Все рождало споры. Весь скандал
И произошел из-за пари.
Раз возьми я да и наудри:
В спор полез, всему наперекор,
И позорно проиграл тот спор!
А условие было таково,
Что на протяжении всего
Дня — у победившего — рабом
Проигравший. В случае любом
Он беспрекословно и тотчас
Был обязан исполнять приказ
Господина. Жорж был господин.
Мне досталось рабство. До седин
Я отчетливо запомнил то,
Как я подавал ему пальто,
Вещи все его за ним волок,
С полу подымал его платок,
Как завязывал его шнурки,
Как по мановению руки
Подбегал... А он, из-за долгов,
Пробовал продать меня с торгов;
Между лекций, в перерыве, он
Организовал аукцион!

Как бывает в юности порой —
Чересчур все увлеклись игрой.
Лекции по городу всему
Нам читали. Часто потому
Мы в трамваях ездили гурьбой.
Жорж в трамвае мне сказал: „С тобой
Я не знаю, как мне быть: изволь

Разузнать, — рабам разрешено ль
Ездить на трамвае”. Задаю
Я вопрос кондукторше. В мою
Сторону все повернулись. Пыл
Сразу же у всех нас поостыл.
Наступила тишина. Сидел
Жорж, внезапно побелев как мел.
К сожаленью, это не конец:
Видимо, сверхбдительный стервец
Ехал в том вагоне. В деканат
Нас повызывали всех подряд.
Разносили нас и вкривь и вкось,
Но каким-то чудом удалось
Все замять. Никто не пострадал.
Мог быть и трагический финал.

— Где ты, Жорж? Откликнись, если жив! —
Я шепчу, бывшее освежив
В памяти.

И вдруг экран сплошным
Небосводом сделался ночным,
И на нем пугающе висят
Несколько чудовищных лампад!
Для убийства город освещен,
Нас уже бомбят со всех сторон,
Подняты кресты прожекторов,
Бомбовозов нарастает рев,
Сполохи огромные в окне.
Грохот. На войне как на войне.

1979

* *
*

День начинался медленно. Сперва,
По-зимнему обутый и одетый,
Он из кладовки приносил дрова,
Лучину в печке разжигал газетой.

Часы идут. Дрова в печи свистят.
К полудню воздух в комнате просушен.
А я едва включаю термостат —
Течет тепло над сетками отдушин.

Крошащиеся времени пласты
Ты измеряешь мерою какою?
Ты меришь время тем, что сделал ты,
Иль тем, что время сделало с тобою?

Обдаст полено запахом смолы,
В печи огонь блеснет, подобно чуду,
И озарит все в комнате углы...
А я о термостате позабуду.

Что значит миг? Секундной стрелки сдвиг?
Один живет от сдвига и до сдвига,
А для другого целый мир возник
В течение взметнувшегося мига.

А у кого для жизни больше сил?
Чей день светлей? Чьи озаренья шире?
И времени кто больше получил,
Чтоб разобраться и в себе, и в мире?

* *
*

Засядут в кабинете
Чиновники матерые
И для всего на свете
Придумают теории.

А мне бы в пять часов утра
Стоять посереде двора
И, как собака, в ноздри
Вбирать холодный, острый,
Настоянный на звездах,
Передрассветный воздух.

А им бы день и ночь подряд
Ворочать ворохи цитат,
А им бы только как-то,
Хоть про булыжник с тракта,
Потолковать абстрактно!

Произвели они расчет,
Куда история течет, —
А я бродяга-звездочет,
История на кой мне черт!

Любой из них перо берет
Строчить доклад или трактат
О том, как, сделав шаг вперед,
Прodelать два шага назад.

А мне и мир-то Божий
Почувствовать бы кожей,
Я на земле прохожий
С восторженной рожей!

Люблю базар и кавардак,
И беготню гусей и кур,
Я на селе Иван-дурак,
Я в балагане — балагур!

Они гражданские права
Вытаскивают изо рта,
Как фокусник из рукава
Пускает голубей до ста...

А я туда иду в поход
Вослед за боевой трубой,
Где с мельницею Дон Кихот
Ведет самозабвенный бой!

Где облаками в синеве
Несется вереница дней,
Где медный таз на голове
Оксфордской шапочки важней!

* *
 *

Видно, было мне так назначено,
Что я жизнь мою прожил начерно,
Что явился я с опозданием
На свидание с мирозданием.

Видно, так уже предназначено,
Видно, так уже напророчено,
Чтоб была душа озадачена,
Чтоб была душа озабочена.

Испокон, видно, так налажено,
Видно, сужено да положено,
Чтоб гудела душа, как скважина,
Ветром времени потревожена.

Видно, так уже предначертано
И никем еще не нарушено:
Надо всем, что на свете мертвенно, —
Приоткрыта душа-отдушина.

А живем мы незаренными,
Много хлама в пути накидано.
Сквознячками потусторонними
Нас прохватывает неожиданно.

Ворота фараона

Сначала нарисуйте бороду. Это очень просто: дайте ей расти откуда она хочет, завиваться так, как она хочет и соединяться с тем, с чем она хочет, и вы получите ту самую бороду, что я имею в виду. Не забудьте только, что она такая же белая, как остаток волос на голове, и такая же курчавая, как пейсы, соединяющие ее с этими волосами.

Нарисовали? Теперь из тесного пространства, оставшегося в вашем распоряжении, выпустите белые брови и поместите под одной из них белый, с бельмом, глаз. Готово? Остается подумать о втором, почти здоровом глазе, красноватом, с прожилками, носе и губах, еле видных из-под белых усов, и вы получите самый подлинный из всех существовавших портрет Хацернова. Разумеется, вы не забыли очки в тоненькой стальной оправе и ермолку. Остальное — кругленькое тельце, одетое в лагерную телогрейку, быстрые, вопреки возрасту, ножки и маленькие любопытные ручки — не столь уж существенно. А чтобы оживить этот портрет, постарайтесь услышать картавый, с шепелявостью, тенорок и вообразить самую невообразимую смесь из идиш, русского и иврита, какая когда-либо звучала под благословенным небом Унженского исправительно-трудового лагеря ГУЛЛП МВД СССР или — короче — УнжЛага.

И снова на баланде я,
И пайка чуть видна...
Унжландия, Унжландия,
Веселая страна! —

воскликнул поэт, вторично репатриированный на этот зеленый остров, затерянный среди других многочисленных островов знаменитого Архипелага.

Что же касается 24 ОЛП, на котором исправлялся Хацернов, то это и не остров был, а так, нечто, воображаемая точка в пространстве. Ну можно ли серьезно говорить об Отдельном Лагерном Пункте, на котором изготавливают конторские счета какие-то там полторы тысячи эзков, не способные из-за возраста или увечий пропускать сталь сквозь дерево на лесоповальных угожьях УнжЛага?

Я уже не помню, какую статью из обширнейшего прейскуранта УК РСФСР выбрал для своего исправления Хацернов. Кажется, это была редко встречающаяся 59-9, а как это переводится на человеческий язык, любопытствующие могут узнать, пролистав ставший библиографической редкостью том дохрущевского кодекса. Помнится только, что в вышеуказанном прейскуранте статья эта оценивалась в *червонец*, из коего Хацернову удалось к тому времени разменять едва лишь второй унжлаговский год.

Теперь два слова о Бате Цокуре. Изобразите самые просторные, с вашей точки зрения, брюки и гимнастерку старшего лейтенанта МВД и постарайтесь втиснуть в них 40-50 килограмм лишних, соответственно с ростом, цокуровских телес. Дорисуйте сверху крупную голову с черно-сивыми курчавыми волосами, одутловатые щеки и заплывшие, но все еще острые и внимательные глаза. Остаются мелочи: одышка, спонтанный мат и средней стойкости запах самогона местной выгонки.

И вот они стоят рядом у вахты, хозяин и начальник 24 ОЛП, старший лейтенант Степан Гаврилович

Цокур, по прозвищу Батя, и з/к Хацернов, последний из последних на этой забытой Богом точке в пространстве. Они говорят, и разговор их высок, как небо над бараками, и необъятен, как аппетит доходяги.

— Вот опять к тебе приезжала дочь с жирной передачей, — гудит сквозь одышку Батя Цокур. — Разве мало, что я сделал тебя дневальным в пекарне?

— Не единым хлебом жив человек, — канторским тенорком возражает Хацернов, и ручка его похлопывает по животу, скромно покоящемуся в тени грозного живота Бати. — Разве не так говорится в вашем Писании? Или вы, гражданин начальник, кушаете по утрам один-таки голый хлеб?

— В моей столовой зэки получают все, что положено.

— За хлеб можно получить три раза то, что положено, и даже, извините, достать рюмку к празднику.

Он прикрывает редкими ресницами свой видящий глаз и некоторое время ждет в осторожном молчании. Но Батя тоже молчит, и старик, подняв веко, продолжает:

— Можно достать к празднику на вашем лагпункте, чтобы ему не быть как другие, но можно ли, скажите, на нем, за весь его хлеб, найти кусочек кошерного мяса, кошерной рыбы или кошерной птицы?

— Триста килограмм привезли, — вместо ответа говорит Цокур, и тень угрозы касается его голоса. — Триста килограмм фазанов лежит в ларьке для вольных за зоной. Какой дурак прислал их? И разве ты видел эту царскую птицу в своей Москве? И вот моя жена стоит за прилавком, а фазаны тухнут у нее на складе, и хоть бы одна сука, кроме моей жены, купила хоть одного! Они покупают водку

в праздники, когда водку привозят, и одеколон „Дорожный” в будни, когда водка кончается.

— Он лучше пахнет — этот одеколон? — с равнодушным интересом спрашивает Хацернов.

— От него отрыжки не бывает! — опрокидывает Батя наивность старика. — Так вот, — продолжает он, справившись с одышкой, — что они видели, эти суки, кроме этого леса и этого одеколona, который они занюхивают рукавом, экономя на фазанах? А фазаны гнивают на складе, и я приказал перекинуть их в зону, пока они не протухли совсем, и кормить ими моих заключенных. Скажи, я плохой хозяин?

— Третий день фазаньи перья летят по зоне, — отвечает старик, — и я выношу ведро с нежными косточками из пекарни, куда вы, благодарение Богу, поставили меня дневальным. Но кто скажет мне, что эта птица, у которой такие красивые перья, кошерная птица?

— Забудь о своих дурацких правилах, — гудит Батя. — Тот, кто их придумал, еще не знал, что здесь будет лагерь и ты будешь сидеть в нем. И ты сам сказал мне, что не единым хлебом питается человек.

— Так я же для вас сказал, гражданин мой и начальник. А мне уже много, ой, много, не будем говорить сколько. И если еврей ни разу не брал в рот трэфного и нажил жену и детей, которые не оставят его в день горя, что мешает ему есть кошерное те восемь лет, которые он обязан прожить здесь, чтобы не пропал даром полученный срок?

— Я слышу в твоих словах жалобу, старик, а ведь Бог, в которого веришь ты и не верю я, не велит тебе жаловаться. Ты живешь в тепле, и над тобой не каплет. Ты ешь хлеб, и у тебя есть к хлебу. А на мой приварок ты и не смотришь. И не потому,

что он „трефной“, как ты говоришь, а потому, что дочь ездит к тебе часто, и руки у нее не пустые. А чтобы возить так часто, нужны деньги. Сколько ты оставил им, старик?

— Зачем считать, — отвечает Хацернов, и глаз его прикрывается. — Зачем считать, гражданин мой и начальник, то, что не может быть отсюда сосчитано? Кто знает, сколько стекается к человеку за долгую его жизнь, и кто скажет, какие он снимет остатки, если Бог даст ему вернуться домой?

— Вчера я привел в зону председателя колхоза, — помедлив, говорит Батя, — председателя колхоза со станции Керженец. Я повел его с вахты в каптерку и велел выдать ему брюки первого срока и бушлат первого срока — такие же, как носишь ты. Я велел выдать ему новые ботинки, а лапти свои с бахилами он завернул в узелок. И я велел отвести его в столовую и накормить от пуза жратвой, от которой отказываешься ты и которой не побрезговал он, председатель колхоза, не видевший фазанов. Он жрал суп из второго котла, и юшка текла по его бороде. Потом он собрал крошки и ушел счастливый, а я выгодно купил картошку для зонного ларька. Он ушел взволнованный и счастливый, а в твоих словах я слышу жалобу и гордость.

— У фараона была жирная похлебка, — ответил Хацернов, и глаз его смотрел прямо, а веко не опускалось. — У фараона была жирная похлебка, но Господь велел, а Моисей позвал, и за ним пошли.

— Оставь Господа, Которого нет, и отвечай коротко и толково: кто пошел, за кем и куда.

— Мы пошли, — коротко и толково ответил Хацернов. — За Моисеем. Что же касается куда, то мы не знали, и я лучше скажу, откуда.

— Кто это — „мы“? — спросил Цокур, и голос его насторожился подозрением.

— Мы, — скромно повторил Хацернов. — Рабами были мы у фараона и вышли, чтобы быть свободными. Но чтобы стать совсем свободными, мы еще сорок лет ходили по пустыне.

— А что было у фараона? — спросил Цокур, и взгляд его, еще не отпущенный подозрением, прощупал пустую дорогу к столовой, будто за ней, за Хацерновым, бесконечной колонной, в телогрейках и бушлатах, двигались по пустыне люди, ушедшие от конвоя.

— Что было у фараона? — переспросил Хацернов, и пухленькие его плечи чуть поднялись в знак бесполезности вопроса. — Лагерь!

— И этот самый твой Моисей организовал групповой побег?

— Он вывел нас из той зоны, — сказал Хацернов, и глаз его поднялся на закрытые ворота, а просветлевшее бельмо второго, незрячего глаза отразило надежду. — Он вывел нас и провел по пустыне.

— А что они жрали в этой пустыне? — спросил Цокур, и голос его отвергнул пустыню и ее сухое жранье.

— Что можно есть в пустыне? — снова подернул плечиками Хацернов. — Только то, что пошлет Господь. Мы плакали — нет, не по фазанам, кто там думал о фазанах, — мы плакали по рыбе, которую ели в Египте даром, по огурцам и дыням, по луку, и репчатому луку, и по чесноку. Но Бог повелел, и Моисей позвал нас, и мы вышли из пустыни.

— Ты говоришь „мы”, будто был при этом.

— Я был при этом, — скромно подтвердил Хацернов. — Каждый год мы вспоминаем, как все мы были при этом.

— И за вами не было погони? ВОХРа не догнала вас?

— Что может сделать погоня с народом, которому захотелось свободы и которому повелел Бог?

— Опять ты говоришь — Бог. Ты начитался сказок, старик, сказок, в которые у нас давно никто не верит.

— Но фараон тоже не верил, гражданин мой и начальник...

— Ладно, хватит! Шагай в пекарню, ешь свои передачи с моим хлебом и жди своего Моисея. Мне нет дела до пустыни, которая далеко, и до Бога, Которого нет. Пускай Он не когда-то, а сейчас проведет тебя через *мои* ворота, — и Батя постучал пудовым кулаком по перекладине, — пусть выведет тебя из *этой* зоны, и тогда я, может быть, поверю. Но чудес нет и никогда не было. И мне смешны твои сказки, старик.

Так кончился тот разговор, а за ним были и другие: Батя любил философские споры. Он вел их со стареньким священником из третьего барака, с бывшим казанским муллою из пятого, вел, за имением раввина, с Хацерновым.

Я опускаю одышку и спонтанный мат, я опускаю, дабы не забыть главного, те поистине удивительные беседы, которые вел этот либеральнейший из фараонов, чтобы привести к атеистическому благомыслию заблудших овец своего стада. А главным было то, что в конце каждого диспута он толстым откормленным пальцем тыкал Хацернову:

— Ну, где твой Моисей? Провел он тебя через *мои* ворота?

И живот его, не стянутый сползшим ремнем, колыхался.

И каждый раз в ответ чуть поднимались пухлень-

кие плечи, и отсвет надежды просветлял белый невидящий глаз.

Шел 1949 год, и новые этапы растворяли ворота вахты, и места на нарах не пустовали.

Время медленно ворочалось вокруг зоны, следуя за перезвоном караульных вышек, и это вращение было неуловимо, как движение часовой стрелки для напрасно ожидающего взгляда. Иногда ворота приоткрывались, но лишь затем и настолько, чтобы выпустить случайно досидевшего или дать донести того, кто не успел досидеть, до братской ямы за конбазой. И актировки порой приоткрывали узкую щель, но протиснуться в нее было дано лишь немногим, кого внезапный поворот судьбы отделял от конвейерного движения кандидатов на вечное место за конбазой. Разумеется, сброс лагерного шлака — неизлечимо больных, невозвратно престарелых и лишившихся ума и памяти — никоим образом не затрагивал многочисленных ветвей и отростков вечнозеленого дерева пятьдесят восьмой статьи, но сколько и других деревьев росло в непроходимых дебрях Архипелага!

И вот — Дина Хацернова, и голос мой задерживается. Я выбираю из воспоминаний, я хочу сложить — и не складывается. Все норовит разом: чернота рассыпанных волос и торопливый стук ожидания, серые (или черные? или карие? забыл, забыл!) глаза и мой хрипловатый от смущения голос, и ее (какой, какой?) голос в ответ, и нелюбопытное лицо надзирателя Соснина, заглядывающего в комнату свиданий.

Все норовит разом и не восстанавливается в целое.

...Она приезжала к отцу. Он шел к ней на вахту, а

я, едва узнав об этом, ревновал и томился. Глаза мои, настоявшиеся на нарных мужских лицах, уши, наполненные матом проверок и разводов, ноздри, впитавшие запахи пота, баланды и шмонов, жили в те часы в соединенном ожидании чуда. И в эгоизме этого ожидания я забывал о барачных моих товарищах, с которыми все делил и долго еще буду делить.

Либеральный наш фараон Батя давал мне долю в чужом свидании, и когда Хацернов, выслушав домашние новости и переложив нетерпеливыми ручками кошерную передачу, отбывал на пекарню для душевного отдыха и благодарственной молитвы, наступал мой час. Я принимал приветы из дома и, умеряя жадность, жрал пирожки, хранившие мамино недавнее прикосновение. Пока насыщалась моя жадность, Дина молча ждала, и во влажных ее глазах (черных? серых? забыл!) было сострадание. А потом я говорил, торопясь усилить это сострадание и жалость к себе, а может быть, вызвать и еще что-то, уже зачинающееся, уже проглядывающее в ее ответном голосе и словах. Потому что было мне двадцать три, а она была младше на эти три моих, отдаленно проведенных, года.

Рельсовый перезвон вышек отмерял время. Прибегал и убегал, не мешая, Хацернов. Волосы наши и руки узнавали легкость первых прикосновений, и надзиратель Соснин, открывая дверь с вахты, говорил:

— Хватит, чеши в зону. И ваше время вышло, гражданочка!

А наутро снова был срок, и развод, и шмоны, и Батя, стоя у вахты, благодушно искушал старика:

— Ну что? Вывел тебя Моисей из *моей* зоны? Провел через *мои* ворота?

Старик складывал ручки и картавым голоском своим, смиренным и непокорным, отвечал:

— Разве фараон, гражданин мой и начальник, знал, когда исполнится время? И разве знали это мы, жившие в рабах у фараона?

И опускал веко на незамутненный свой глаз, пряча надежду и ожидание.

Шли месяцы, перевалился год, готовился к размене другой. Случались свидания, и руки наши привыкали к неразъединенности. Но однажды Дина приехала с глазами, полными иным. Не слыша, слушала она мои слова, и голос ее отсутствовал, когда она, не слыша, отвечала. Днем, задолго до надзирателя Соснина, она сама оборвала свидание и укатила в Сухобезводное, в управление лагерем. И вернулась назавтра. И вновь укатила.

Я томился, и она, в один из челночных своих приездов, проводив старика, улыбнулась мне и не отняла руки, но и рука, не слыша, думала о другом. И лишь на второе воскресенье, взяв отдых от мотаний, под секретом шепнула мне на ухо, что готовится активировка и что она, Дина, *надеется*.

И вот ведь как — увезла!

Почти месяц моталась, а увезла.

И статья у старика не больно-то актирующая была, и сроку впереди хватало... Какие она там слова говорила, что вложила, чего старик дома не досчитался — не знаю, но когда она в последний раз шла от зоны, он был с ней.

И кончились на этом мои свидания. Еще получил от Дины привет, когда мать ко мне приезжала, а потом умотали меня на север, в ту зону, где номера на спине, два письма в год и ни о каких свиданиях не слыхали.

Но еще раньше, до севера, подзывает меня как-то Батя.

— Вот, смотри, какое этот сукин сын мне письмо прислал, — и листок протягивает. И лицо у него не то чтобы смущенное — от смущения его должность берегла, — а такое, будто ждет он чего-то от меня. Слова какого-то, что ли...

Взял я листок этот и прочитал:

„Здравствуйте, гражданин мой и начальник, хотя я дома и сам себе человек. Благодарение Богу, я нашел всё в порядке, и меня нашли все в порядке, за что и вам спасибо. И я буду помнить, что мне было тепло и на меня не капало. Но, гражданин мой и начальник, повторял я слова пророка нашего Исайи: „Господи! тесно мне; спаси меня”. А теперь повторяю дальше: „Он сказал мне, Он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горечь души моей”.

На этом я кончаю и желаю вам лично и семье вашей всякого благополучия. И остаюсь вашим уже свободным

заключенным Хацерновым”.

А чуть ниже приписка:

„А помните, как мы с вами стояли у вахты и вы говорили, что поверите, если выведет и проведет? Так вот, гражданин мой и начальник: вывел и провел”.

— Ну, что скажешь? — с каким-то даже нетерпением выдохнул Батя.

Чего он ждал от меня? Какого ответа?

Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

Тоска по Армении

*Им хотелось бы знать, почему,
и он отвечал:*

*— Потому что я знаю их теперь
немного лучше. Они не лучше и не
хуже других народов, но я люблю
их чуточку больше других...*

Вильям Сароян

Глава первая

ПРИЧИННЫЕ СВЯЗИ

I

— Не грусти, — сказал бригадир Олег. — В Польшу не поехал — поедешь в Венгрию.

И вот я лечу в Армению.

Все взаимосвязано в этом мире. Сначала где-то там, за Кавказом, в загадочной и вожделенной стране, существующей для меня как литературный факт, в городе, выстроенном русскими писателями, вдруг обнаруживается институт, вполне реальный, какой-нибудь Био-гео. И вбегает в лабораторию реальный заведующий, черный, с усиками — армянин. А его сотрудники — аспиранты и лаборанты — сидят

как ни в чем не бывало и дуются в нарды. Нарды — тоже понятие литературное, такая, по-видимому, доска, а вместо клеток, допустим, кривые линии, извилистые, вроде армянских букв. И играющие там что-то такое делают — водят, кидают, может быть, щелкают ногтем. И вот... „Бездельники! — кричит заведующий. — Дармоеды! — кричит он по-армянски (в каждом слове З, Ц и Ч). — Отчего не работаете? Зачем не работаете? Годовой отчет! Две диссертации! Что скажу? Кому покажу?”

Аспиранты, сотрудники и лаборанты, не дрогнув, не отрываясь от нарда, продолжая щелкать левой рукой (по кубикам, что ли?), дружно поднимают правые руки и молча куда-то указывают. И вот мой воображаемый взгляд вместе с реальным взглядом заведующего упирается в нечто в-углу-стоящее, с родными и близкими мне очертаниями, слегка приглушенными прозрачной попоной. Мы оба, я и заведующий, мгновенно все понимаем. Это наш родимый ТГС-12 (термо-грави-спектрофотометр), смертельно необходимый человечеству прибор, и он (о, ужас! и о, радость! — кричим мы одновременно, зав — по-армянски, а я — как могу), он сломался, он не работает, никто не виноват и нужны ремонтники. Завлаб выбегает, взлетает по лестнице, вбегает в кабинет заведующего отделом, что-то быстро и горячо ему говорит. Тот сначала спорит, потом соглашается (армяне всегда между собой договариваются) и бежит дальше наверх, к директору. Нет, к заместителю. Сначала к одному, потом к другому — по науке и по адм-хоз. Там повторяется та же сцена — сначала спорят, потом соглашаются, и вот уже вызвали машинистку, и она проносится по кабинетам — ищет машинку с русским шрифтом (одна на весь институт). Зав и зам диктуют наперебой, поправляя друг друга в русской грамматике. „Про-

сим выслать”, — говорит зав. „Убедительно просим!” — добавляет зам. „Ремонтников...” — „Нет! Мастеров...” — „Нет! Специалистов!”

— Не грусти, — говорит между тем бригадир Олег. — Ну, был я в Венгрии. Ничего хорошего. Жара... Давай-ка лучше по Союзу посмотрим, что там у нас. Куда выберешь, туда и поедем. Например, в Армению, а?

— Слушай, — говорю я, — ты так не шути. Армения — это слишком серьезно. Для меня Армения, знаешь... Лучше не надо.

— Ерунда! — говорит он и вынимает из папки бумагу с печатями. — Все ерунда! — и прихлопывает ее на столе ладонью. — Вот она где — у меня в кармане, твоя Армения.

2

— Но учти, — кричит мне Олег в самолете, — сачковать не придется. Нам еще подсунули два письма, значит, три прибора на четыре недели. Так что на субботы пока не рассчитывай...

Вибрирующий гул поглощает все интонации, я слышу только контуры слов и фраз. Похоже, будто их произносит машина, или человек, потерявший гортань, с помощью специального генератора тона — я слышал однажды.

— Что! — то ли спрашивает он, то ли утверждает, вопроса в голосе нет. Я спохватываюсь. Что он такое сказал? Четыре недели?

— Да, Да! — вибрирую я в ответ. — Понял, понял!

— Быков-то! — надсаживается Олег. — Хорош гусь! — Ожидаемый им от меня вопрос я задаю беззвучно, одним только вздергиванием головы.

— Новую модель утвердил, а расценки оставил те же самые. Представляешь?

Я сокрушенно трясую головой.

— Ничего! — кричу я Олегу. — Зато в Армении... Погода, наверно!

Он как бы не слышит.

— Ты программу на тыщу пятьсот настраивал. То-то, а может, понадобится.

— В Гегард поедем! — ору я уже по-нахалке. — В Эчмиадзин, в Гегард и еще куда-то, забыл название...

Он не отвечает и рассеянно отворачивается к окну. Я принимаю превентивные меры: открываю портфель, вытаскиваю книгу. Читать мне не хочется, мне хочется думать. И хочется разговаривать, но не об этом. И уж лучше читать, чем так разговаривать. Я раскрываю книгу.

Эта книга об Армении — замечательная вещь. Я читал ее по меньшей мере дважды с начала и до конца и еще многократно в отрывках. Я взял ее с собой не для того, чтобы читать, а для того, чтобы здесь, в самолете, в промежутке между двумя существованиями, несколько раз раскрыть ее и как-то подготовить свое восприятие. Я не листаю страниц, не пробегаю строчек, а сразу же мысленно воспроизвожу любой кусок по собственному выбору. Так, наспех, за пятнадцать-двадцать минут я выстраиваю некий образ Армении, увиденной чужими глазами. И хотя я знаю заранее, что сам я увижу другое — просто быть не может, чтобы то же самое — все же мне становится как-то спокойнее: для начала есть на что опереться...

Там, под нами, кажется, видно землю, но Олег сидит у окна и мне далеко тянуться. Он сидит, широко расставив длинные ноги, упираясь коленями в переднее кресло. На коленях у него огром-

ная синька со схемой. Он сразу замечает мое движение.

— Вот! — кричит он. — Шаговый двигатель. — А это — фазочувствительный мост! А здесь надо еще раз разобраться. Потом поглядим в Ереване!

И улыбается. В Ереване! Хороший парень...

Глава вторая

ДЕНЬ ОТКРОВЕНИЙ

1

Вещей у нас вдвое больше, чем рук: инструменты, запчасти, схемы, инструкции; в моем портфеле банка какой-то краски — необычайно тяжелый гостинец от начальника цеха его знакомому; личные вещи, а также книги. Я везу еще пластмассовый бочонок для вина, стыдливо упрятанный в холщевую сумку, а Олег — решетчатый ящик для фруктов, заполненный запасными деталями. И еще у меня кое-что есть в чемодане: завернутый в плотную бумагу пакет, а в нем килограмма три рукописей...

Вещей вдвое больше, чем рук, но нас обещали встречать с машиной. „Двое, — сказал я из Москвы по телефону, — один рыжий, другой с бородой и лысьй”. — Прекрасно! — ответил мужской голос с легким приятным акцентом. — Будем ориентироваться на бороду”.

Лучше бы он ориентировался на рыжего. Такого, как Олег, здорового красавца с чисто русской, нет, скорее прибалтийской, да что там — немецкой светло-рыжей шевелюрой, другого такого в

аэропорту не было. Зато лысых и чернобородых — великое множество. И наш милейший Тигран Мигранович, тот самый мной воображенный завлаб, искал нас с Олегом довольно долго, переходя от одной бороды к другой. И когда он уже должен был приметить и нас, разумеется, в последнюю очередь, я, как назло, оставил Олега без главных опознавательных знаков, унеся свою бороду вместе с лысиной в зал ожидания. Там я собирался сходить в туалет, а затем, или даже одновременно, полюбоваться на ереванскую публику. Про туалет я здесь говорить не буду, но публика была, как видно, хорошая, ничего мне плохого не сделала. Впрочем, говорили все не по-русски. Когда я вернулся, они уже встретились. Наш измученный хозяин, перебрав все бороды, с отчаянья кинулся все же на рыжего. Что ж, вот он, тот самый легкий акцент, острые живые глаза, кажется, человек не прямой, но добрый. Усов нет, да они бы ему и не шли: лицо тонкое, узкое. Дружелюбно сутул, грациозно неловок. „Тигран!“ — сказал он, подавая мне руку, и это мне сразу понравилось. Мне понравилось, что без отчества.

Я всегда воспринимаю их как-то болезненно, эти отчества инородцев. Здесь, по-моему, многое сходится. Если ты к своему азиатскому имени — или европейскому, все равно — постоянно приставляешь русский суффикс, это для тебя не проходит бесследно, это становится частью твоей личности и меняет не только взаимоотношения, но и мироощущение, в конечном счете.

Амбарцум — хорошо. Амазасп — прекрасно. Но Амбарцум Амазаспович — это уродливо. Здесь не только борьба чужеродных звучаний, но и ярко выраженная подчиненность, клеймо государственности на лбу. Амазаспович — это пахнет паспортом,

здесь прописка, военно-учетный стол, первый отдел, восемь страниц анкет и прочие наши дела. И вместе с тем — какая-то несерьезность, пародийность, издевка, унижительная игра. Почти так же, как в чисто еврейских сочетаниях: Абрам Исаакович...

В Армении — потом я отмечал это всюду — крайне редко употребляют отчества, чаще всего — в присутствии русских, по отношению к ним или для них. Быть может, приведенные соображения живут подспудно в сознании армян, но скорее здесь просто врожденное чувство слова, да еще — царственная простота отношений. По имени и почти сразу на „ты” — и девяносто процентов неловкости, столь обычной при общении с чужими людьми, устраняется с первых же слов.

Тигран — Юра. Мы познакомились. Погода в Ереване, погода в Москве. Как долетели, багаж, машина. Идем к машине. Тигран перекошен влево. Он не рассчитал. В левой руке у него плащ Олега и мой не очень большой портфель, в котором тот самый тяжеленный подарок. А в правой — большая холщовая сумка с пустым бочонком. Воздух в бочонке ничего не весит, поскольку выталкивается окружающим воздухом. Сверху бочонок прикрыт моим свитером, свитер, как видно, тоже выталкивается: рукав уже болтается сбоку. Мне неловко — такой элегантный Тигран... Но машина оказывается стареньким „газиком”, и это меняет дело. Швыряем плащ, кидаем сумку, втискиваемся между какими-то палками, упираемся в чемоданы коленями, все прекрасно, поехали!

Шофер — совсем молоденький мальчик лет семнадцати. На обшарпанной приборной доске — немецкие переводные картинки с усредненными изображениями женских лиц. Побрякушки, сувенирчики — это все, как у нас. Но сверху, на перего-

родке ветрового стекла — большой серебряный крест. „Ага, вот оно, — думаю я. (Ничего не вот — и тут, как у нас. Я успею еще убедиться. Такая же мода: крестики, нолики...) . Тигран сидит на переднем сиденье, но всем корпусом повернут, вывернут к нам. Едем быстро. Шоссе как шоссе: деревья, домики, пешеходы. Я жадно ищу глазами чего-нибудь — ах! — такого, но такого особенного нет ничего. Впрочем, быть может, я просто не вижу, я чувствую крайнее возбуждение, я слишком много думал об этой поездке. Шутка сказать — Армения! Просто так сел, прилетел. Думал: „Возьму посмотрю, как живет в Ереване синица”. Какая, кстати, синица, что он имел в виду? Быть может, в Ереване это и выяснится? Приезжаешь в Ереван, смотришь — синица. Ага, говоришь, значит, вот оно что! Теперь понятно, про это как раз и стихи...

— Что у вас с прибором? — вдруг спрашивает Олег. — Сколько времени работал, какие неисправности? — Он деловой человек и он прав. Все же мы явились не от Союза писателей. — Что вообще вы скажете о вашем приборе, какого вы мнения, Тигран Ми-гранович?

Тигран чуть морщится. Он не жаждет иметь отчество. Он рассказывает о приборе. Он старается быть деликатным. — Вы не обидитесь, мы, конечно, хотели японский. И даже выбили в министерстве. Но с валютой, знаете... А этот... ну что ж... Поворот на Эчмиадзин! — он вскидывает руку. Огромная кирпичная, тюремного вида стена без окон. Я дергаюсь, но ничего не вижу. Шоссе как шоссе, деревья, домики. — Работать можно, — говорит Тигран. — Но сейчас меня волнует другое. Дело в том, что... Я вам еще не сказал... Завод Арарат! — он вскидывает руку. Огромная, кирпичная, тюремного вида стена без окон. Коньяком как будто не пахнет.

— Дело в том, что с гостиницей у нас не вышло. Но вы не волнуйтесь, что-нибудь придумаем, на улице вас не оставим...

— Т-а-к, — тянет Олег, — ну вот и приехали.

2

Какой-то тупик, неуклюжие ворота, захламленный двор. Но вывеска аккуратная, желтым по черному, на двух языках. Буквы, действительно, очень красивые, правильно сказано о них в этой книге и в той первой, ее предварявшей, и в тех, все начинавших стихах. Выразительные буквы, ничего не скажешь, просто хочется их читать.

Мы вылезаем, вытаскиваем вещи. Теперь Тигран уже знает: сумку мою с выползающим свитером берет в левую руку, а портфель („Что у вас там, гантели?“) — в правую. Ковыляем по коридору, вползаем в лабораторию. „Вот, знакомьтесь, — говорит Тигран, — это мой заместитель“. Толстый человек с добрым лицом, улыбаясь, встает нам навстречу. „Здравствуйте! — говорит он: — „Норик...“ „Юрик“, — так и хочется мне сказать. Он в черном халате — наш брат-инженер, в разговоре медлителен, но не связан, акцент чуть больше, чем у Тиграна, тот все же начальник и, видимо, чаще бывает в России. Они обмениваются армянскими фразами, негромко, как бы между прочим, слегка, мол, главное — это с вами по-русски, и Норик ведет нас в дирекцию. Секретарша — молодая, улыбочиво-строгая. Печать „прибытие“ и сразу „убытие“, там видно будет, какого числа. Это приятно, по-человечески. Документы, письма, две машинки... Русский шрифт! и опять русский. „Что вы, что вы! — машет рукой Норик — армянская машинка это —

редкость! Есть, есть, не могу сказать, но крайне редко. Да и зачем? Все делопроизводство — только по-русски”. Я пытаюсь поймать в его голосе досаду, но там ее нет, одна констатация. Я тоже хорош — как будто не знал. Это же ясно. И правильно, какая еще досада. Куда им писать по-армянски?..

Мы идем к заместителю директора института. Ага, вот это другое дело. Хитроват, жестковат, щеки лоснятся. И все-таки, кажется, тоже вполне человек. „Норик , — говорит он, — сперва жилье. Поезжайте к Ашоту, поезжайте к Геворку, сначала люди должны быть устроены, а потом уже будем говорить о работе”.

Мы спускаемся вниз. Тигран еще там. Оживленная, хотя и негромкая беседа. Имена Ашот и Геворк — различимы.

Может быть, пока что прибор посмотрим? — спрашивает Олег.

— Нет-нет, — мотает головой Тигран, мне кажется, даже слегка испуганно, — сначала квартира. — И хватает портфель.

— Инструменты, — поясняю я ему, — и запчасти.

— Ну да, ну да, — он улыбается. — Гантели были бы легче.

„Газика” во дворе уже нет, а стоит старинного вида автобус, обшарпанный и ненадежный. Внутри между сиденьями бидоны и ящики. Но нам, конечно, места хватает. Шофер уже постарше того, нам ровесник. Все мы здесь примерно одного возраста — вокруг сорока. Выезжаем из ворот и едем по городу. Три часа дня, мы еще не обедали, завтракали рано утром в Москве. Жара невыносимая, мы в пиджаках. Снимать не хочется: документы, деньги, не дай Бог, лучше уже так.

— Сейчас хорошо, — говорит Норик, — конец сентября — лучшее время. В августе мы просто все задыхались.

Я смотрю по сторонам и ничего не понимаю. Нет, не так представлял я себе этот город. Не знаю как, но не так. Прежде всего — какой-то он не армянский. Как будто выехали прежние жители и сразу въехало много армян. (Армянское нашествие. Захватили? Даже в шутку невозможно произнести. Ах, это ничего, это нам не помеха. Главное — выговорить первый раз, а потом уже каждый день повторять. И прилепится, и станет неотъемлемой частью. Может быть, турки так и делали.) И вот город заполнен жителями, но как будто все не отсюда: не привыкли, не прижились. И дома, улицы к ним не привыкли. Мне трудно понять, в чем, собственно, дело, но первое впечатление было именно это, и потом оно в чем-то смягчалось, но в чем-то даже усиливалось. Тут была еще вот какая странная штука. Здания, мимо которых мы проезжали, производили какое-то временное впечатление, даже самые высокие и самые новые. Архитектура была в основном никакая, просто среднесоветская архитектура, это потом уже, бродя неторопливо пешком, мы обнаружили узловые точки, из которых пунктиром возник рисунок такого, а не другого города. Но пока я видел как раз промежутки, и город был не такой, другой. Да, все это были временки, даже самые старые и обжитые, времен Днепрогэса и первых пятилеток — старше уже, как видно, не было...

И вот, вот еще что! Эти красные полотнища по краю крыш. Ну какая в них для меня неожиданность? Как будто их здесь могло не быть? Но странно, я их не предвидел. А они — вот они! тут как тут! Это уже не Амбарцум Амазаспович... И все понятно, не надо знать языка. Четыре высоких буквы в самом конце — две разных и две одинаковых — и после них восклицательный знак — так зна-

комо, как будто всю жизнь читал по-армянски! А вот немного другая фраза, тут в середине римские цифры, но и это нам тоже как семечки. Так легко перевести, так трудно понять... В той книге, что лежит у меня в портфеле, там прекрасно об этом сказано. Что вот, например, такими библейскими буквами: „Права и обязанности пассажиров Аэрофлота” — какая оскорбительная нелепость! И вот я смотрю по сторонам и думаю, что там-то как раз никакой нелепости нет. Это необходимость, это быт, это жизнь, а жизнь — это не только стихи и молитвы. И самые прекрасные в мире буквы не унижены, если они несут сообщение. Но только — если несут.

И еще я думаю о том, что автор, умный и тонкий писатель, все это прекрасно видел и знал, но просто по независящим от него обстоятельствам заменил одну фразу другой. Как отважно выразился Самуил Маршак: „Я написать стихи готов, ребята дорогие, но не печатаю стихов — печатают д р у г и е!” И как бы в подтверждение такой подмены в последнем издании этой повести те самые д р у г и е, не зная языка, перепутали в тексте армянские фразы. И выходит теперь, что первые слова, написанные по-армянски великим Маштоцом, были как раз о правах и обязанностях и именно пассажиров Аэрофлота. Это могут заметить только армяне, и, конечно, это курьез, анекдот, но при желании здесь можно увидеть и символ...

Едем, едем, едем. Поскрипываем корпусом, погромыхиваем бидонами, повизгиваем тормозами, пованиваем бензином. Дышать не то чтобы нечем, но не так уж много и чем. Наконец, остановка. Тигран, шофер и Норик всасываются в какой-то подъезд. Мы тоже выходим — подышать, прогуляться. Пыль, жара, голод, жажда. Десять минут, двадцать,

тридцать. Появляются, разговаривают, жестикулируют.

— Ну что?

— Здесь не вышло, поехали дальше.

Едем, едем, едем. Остановка. Все повторяется. Едем.

— Вы нас, пожалуйста, извините, — говорит Норик. — Мы, конечно, вас подвели. Но мы обязательно что-то устроим, на улице вы не останетесь.

Я стараюсь улыбнуться — прекрасный же парень! — и бормочу что-то взаимно вежливое.

— Будем надеяться, — говорит Олег жестковато. — Не уезжать же нам обратно в Москву.

Он деловой человек, он прав, как всегда. И вот они возвращаются в третий раз.

— Все решено, — сообщает Норик. — С гостиницей ничего не вышло, но это вас не должно волновать. Сейчас мы поедem к моей маме, пока остановитесь у нее, а дня через три мы что-нибудь сделаем...

Первое и сильнейшее мое желание — схватить вещи и убежать. По мне так лучше в аэропорту, в комнате матери и ребенка, или где там устраиваются в подобных случаях.

— Я прошу вас, не чувствуйте никакой неловкости. Квартира большая, просто огромная, мама там совершенно одна, я ей позвонил, она уже ждет...

— Да, да... — шепчу я Олегу с нетерпением.

Плоскостенный, конструктивистского времени дом, огромный квадрат с пустой сердцевинкой, занимает целый квартал. Мы поднимаемся на третий этаж. Узкая, бесконечная лестница. Норик отпирает своим ключом, и мы вваливаемся с чемоданами, портфелями, сумками, с бочонком и свитером. Маленькая, полная, еще не очень старая женщина, без-

отказная умница на вид и добрячка. Ну что за люди, неужели так будет и дальше.

— Входите, входите! — говорит она, — не стесняйтесь, здравствуйте, проходите, это можно сюда, будьте как дома!

Мы, конечно, стесняемся, неловкости полон рот. Из гостиной выносим диван-кровать, внесли в спальню, к имеющейся уже кровати. Это будет наша комната. Норик что-то мягко говорит матери, я различаю слово „торшер”. Ставим торшер, ищем розетку, затем долго и хлопотно его включаем, представляя куски проводов, причем и я, и Олег, оба едва не вырываем друг у друга кусачки — привычная работа снимает часть напряжения.

— Ну вот, — заключает Норик, — располагайтесь, отдохайте, надеюсь, вам будет удобно. Дня через три уладим с гостиницей, а пока ни о чем не волнуйтесь, отдохайте, живите. К сожалению, нам с Тиграном надо идти. — Он улыбается. — Работа, работа... Вот вам ключи, будьте как дома, приходите, уходите, когда захочется.

— Мы, пожалуй, тоже, — говорит Олег, — пойдем прогуляемся. (Он опять прав — есть охота смертельно.)

— Хорошо, хорошо, — отвечает Норик, словно угадывая наши мысли, — но только, пожалуйста, далеко не ходите, через полчаса будет обед, мама быстренько приготовит, так что погуляйте слегка — и назад. У нас со столовыми здесь не очень, вы еще убедитесь (он улыбается), а домашнее все же совсем другое...

Тигран что-то говорит ему. Он кивает. Он еще раз обнимает свою маму за плечи, что-то бормочет ей тихо, с улыбкой открывает дверь, пропускает Тиграна, и мы оборачиваемся к хозяйке.

— Цогик Хореновна, — говорит она, и мы выни-

маем записные книжки. Этого нам ни в жисть не запомнить. Цо-гик! Мы представляемся. Старая женщина, конечно, по отчеству, тут уж для нас вариантов нет. Хо-ре...

Мы обходим квартиру. Здесь — то, там — это. Квартира, действительно, довольно просторная — две большие комнаты, коридор, кухонька, душ, туалет, широкий балкон (здесь говорят „хозяйственный“), идущий вдоль нашей комнаты, кухни и дальше к соседям. Но стены потрескавшиеся, закопченные, а мебель старая и убогая. Облезлый шкаф с выпадающей дверью („это будет ваш, можете вешать“), венские стулья — сто лет не видал („возьмите себе еще один“). Я ощущаю какую-то возню в своих мыслях. Это борются штампы „все армяне богатые“ и „там, на Кавказе, умеют устраиваться“ с вот этой откровенной и так мне понятной бедностью.

— Места много, — говорит она. — Все дети разъехались, я одна осталась. Это хорошо, что вы приехали, теперь мне будет компания. Значит, вы — Олег, а вы — Юра. Оба русские. В ы т о ж е р у с с к и й ?

3

Так просто был задан этот первый вопрос, главный вопрос ко мне в Армении. Сколько раз мне его будут здесь задавать и сколько раз я буду вот так раздваиваться?.. Дома, в России, все было гораздо проще. Там если спрашивают „русский — не русский?“, то это значит: „еврей — не еврей“, то есть, ты — как все или не как все. И тогда ответ однозначен: конечно, другой, не как все, уж как там сумеешь произнести — смущенно, потупясь, гордо, под-

черкнуто, просто. Но и вопрос этот устно задается редко, потому что если русский, то что ж тут такого, а если еврей, то уж лучше не надо, зачем вводить в неловкость присутствующих. У нас в России вопрос этот чисто письменный, а если — предмет разговора, то в узком кругу. Вопрос, обязательный к написанию и запрещенный в произнесении...

Но здесь, в Ереване, я слышал на каждом шагу, в начале почти любого разговора: „русский — не русский”. Вопрос был тот же, но суть иная. Потому что он задавался с другой стороны. Всякий русский, задающий тот же вопрос, хочет он того или нет, выступает как представитель господствующей нации и, значит, как бы соавтор всех тех анкет. Оттого и стесняются в России спрашивать, корень этого чувства — в комплексе вины. В Армении же — другое дело. Здесь — представитель маленькой нации: такой же ли ты, как он, или русский, к а к в с е , к т о п р и е х а л о т т у д а .

Это ведь очень понятно.

В наших поисках общения и понимания, а в конечном счете сочувствия и близости, то есть всего того, что могло бы смягчить и скрасить наше — каждого! — на земле одиночество, нам необходима какая-то общая точка, некое общее с собеседником качество, отличающее нас и его от большинства окружающих. В принципе это может быть что угодно, от радиолюбительства до философских воззрений, от общей профессии до близкого возраста, но важен именно градиент, разность между вами и остальными. Для Робинзона — и Пятница друг. Но филателист может охладеть к своим маркам, радиолюбитель — заняться фотографией, армянин же — всегда армянин, и еврей — всегда еврей. Здесь общее качество безоговорочно, оно незыблемо, в нем ты всегда уверен. И, конечно, естественно, что

это качество, стертое в однородной среде, в чужеродной получает высокую цену. Оно с несомненностью объединяет, потому что с несомненностью отличает, и при этом не зависит от обстоятельств и даже от нашего с вами желания. Здесь обеспечена теплота отношений, пусть минимальная, но безусловная. Какие-нибудь фантастические герои Ефремова, равно наделенные добродетелями и лишены национальных отличий, не могут и понятия иметь о душевном тепле, поскольку не знают душевного холода. Близость какой-то группы людей равна их далекости от окружения, и масштабы тут могут быть самые разные: семья, страна, континент, вселенная...

Но вот вы встречаетесь с человеком, не заведомо близким, а заведомо далеким. Вы — представитель нацменьшинства, он — представитель нацбольшинства. Нет никакой там национальной вражды, никакой отчужденности, недоверия даже — глупо, ничего этого нет и в помине. Напротив, полная доброжелательность, уважение и просто — какая разница... Но человеку свойствен поиск путей сближения, всякий необязательный разговор как раз для этого и предназначен. Вы нащупываете, ищете, и вот выясняется. Ну, допустим, вы оба учились в Минске, или же оба читали Набокова. Это — радость, это маленький праздник души, от которого кто же из нас откажется. Но если вы не учились в Минске, а на Набокова нет никакой надежды, то тогда остается что-нибудь проще, но, быть может, основательнее, безусловнее, такое, что захочешь, а не отвертись. Например, выясняется, что он, ваш гость, не вполне представитель великой нации, а тоже отчасти... и даже очень. Это тоже повод для тепла и сочувствия и, конечно, тоже праздник души, и армяне от него

никогда не отказываются, и, как хотите, а мне это нравится.

— Русский? — спрашивает старая женщина.

— Нет, — говорю я, улыбаясь, — еврей.

И с удивлением чувствую, как легко мне вот так улыбаться, как легко и просто было ответить. „Еврей“, — говорю я так легко и естественно, как если бы „украинец“, или „эстонец“, как в детстве замечательно объясняли мне дома: „Есть русские, украинцы, а есть евреи“ (как будто так оно все и есть).

— Да, да, — говорит она тоже с улыбкой, — а я и смотрю: совсем армянин, почему по-армянски не разговаривает, нет, думаю, наверно, еврей, вот Олег русский, это сразу видно, такой светлый, совсем не похож, хотя и армяне бывают светлые, сейчас много рыжих армян, и у нас говорят, что это правильно, что раньше все были такие светлые, и глаза были тоже голубые, не черные, а потом постепенно так изменились...

Я слушаю ее милую воркотню — и не слушаю, не могу, отворачиваюсь. Слезы умиления и благодарности застилают мне глаза. Старый дурак. Ну что, что тебе такого сказали?

Что сказали... Вот именно, что ничего!

4

Мы вышли из подъезда, пошли направо, опять направо, опять направо, потом налево, прямо, налево... стараюсь запомнить обратный путь. Значит, обратно наоборот: направо, прямо, направо, налево... Но вскоре мы бросили это занятие, ясно стало, что это лишнее. Город был расчерчен прямоугольно,

а зная общее направление, мы могли не беспокоиться, что заблудимся.

Прохожих попадалось довольно много, как и во всяком приличном большом городе, но то, что все они были *армяне*, к этому я никак не мог привыкнуть. Русской речи не было слышно нигде, и опять же скажу заранее, что за весь этот месяц я слышал ее на улице дважды, и каждый раз — от приезжих. Армянами были старики в сквериках, продавцы в овощных и табачных киосках, дворники, дворничихи, милиционеры и прочие мужчины, женщины и дети, идущие навстречу и рядом. Продавщица мороженого показалась нам точно уж русская: круглолицая, светлая, сероглазая. Мы нарочно задали ей какой-то вопрос — она ответила с таким непробойным акцентом, что мы закивали поспешно, как лошади, и шарахнулись дальше по тротуару. Нет, не могло быть никаких сомнений: мы находились в Армении.

И уже не в первый раз за этот день какое-то неясное, но приятное чувство окрасило эту простую мысль. Что-то личное и не вполне бескорыстное, но и не лишенное добродетели... Ах, еще бы поесть, и все замечательно. Но поесть было решительно негде. Мы шли, поворачивали, снова шли, мы осматривались, вглядывались, принюхивались — тщетно, нам ничего не светило. Ереванцы, к которым мы обращались, любезно останавливались, морщили лбы, неопределенно озирались по сторонам — и пожимали плечами, разводили руками. „Столовая, столовая... — бормотали они. — Ресторан есть, вон там, за углом...” Мы разочарованно благодарили. О ресторане нечего было и думать: с нашими суточными, да еще на Кавказе.

— Вернуться? — неуверенно говорил Олег.

— Ну нет. — Тут я непримирим. — Чужие люди, с какой стати?

Наконец какой-то стеклянный угол, просвечивают круглые столики, просматриваются сосиски и хлеб. Не лучший вариант, но и то слава Богу! И пиво — надо же, в такую жару! Сосиски и пиво — совсем хорошо. Олег берет два стакана мутного кофе — он не пьет ничего даже околоалкогольного — такая, говорит, у него аллергия, но еще, конечно, профессиональная ненависть пострадавшего от алкашей бригадира. Хлеб особенный — плоский, слоистый, и его много, что тоже прекрасно. „Русские любят много хлеба”, — говорит, улыбаясь, буфетчица. Мы радостно киваем, мы любим много, много хлеба, много сосисок, особенно если не ели с утра, а уже вечер, и устали как лошади. Мы — любим, мы р у с с к и е... Как мне приятно и это, и это тоже! Какая-то детская глупая радость, странная такая причуда судьбы. Надо было приехать в Армению, чтобы почувствовать себя настоящим русским, и не уже, не беднее оттого, что еврей, наоборот, богаче и шире. И вот — будет многое меняться в моих впечатлениях, дополняться в ту или другую сторону, но э т о останется и утвердится как главная моя благодарность армянам. Здесь я был всегда настоящим русским и здесь я был настоящим евреем, и то и другое без всякой ущербности, легко и достойно, и как хотел.

В тот день нам еще оставались две вещи: кино и японские зонтики. Зонтики продавали в универмаге, видимо, выбросили для плана, сентябрь, конец квартала, — понятно. Хотя, честно говоря, не очень понятно, никогда я их не видел в свободной продаже, и никто из моих московских знакомых, и никто, как оказалось, из ереванских. Но факт остает-

ся фактом — их продавали. И даже очереди почти не было, еще не кончился рабочий день, да и в голову никому не могло прийти. Мы с Олегом тут же и кинулись. Мужской черный складной зонтик — это, пожалуй, единственная вещь, которая мне действительно была нужна. Работа разъездная, вечно шляешься, в дождь нацепляешь полиэтиленовый плащ с такими особыми петлями, жесткими, как петушиные клювы, которые рвут или пальцы или самую ткань. А тут — вынул себе из портфеля, раскрыл и гуляй. Мечта. И тридцать рублей — не деньги. Пожмемся или из дому выпросим. Я купил один, Олег — три, близким родственникам в подарок. И вот мы гуляем по Еревану с четырьмя мужскими японскими зонтиками и активно общаемся с местными жителями. Почти никто не проходит мимо. „Простите, где...” — спрашивают у Олега и что-то непонятное — у меня. Я сначала тоже говорю: „Простите, нельзя ли — и так далее, но потом привыкаю и сразу, без перевода, отвечаю, где и когда. Чем дальше мы отходим от универсама, тем меньше от нас к нему кидаются, и вот уже спрашивают и кивают, и идут себе по своим делам. Все, как в Ленинграде или Москве, такие же люди, куда им деться. Граждане, одним словом.

Но пора уже нам, наконец, посидеть, и мы берем билеты в кино и звоним нашей доброй Цогик Хореновне. „Ах, ну что же вы, — говорит она, — а я начинаю уже беспокоиться, думаю, города они не знают, заблудились, может быть, — и смеется. — Ну ладно, что ж, гуляйте, гуляйте!” Мы с Олегом заходим еще в продовольственный, покупаем плюху слоистого хлеба и бутылку мацуна. Что за мацун? Будем думать, не хуже кефира. В кафетерии, у входа в кино-театр, под наклонной, виражом закрученной крышей, мы берем по чашке черного кофе и просим

стаканы — и их нам дают. Мацун не хуже кефира, но и не лучше. А может, и хуже — какой-то кислый. (Я узнаю потом от своих новых армянских друзей, что это не так, что мацун — даже очень вкусная штука, но только настоящий, не магазинный, потому что магазинный — это тьфу! не мацун!) Мы сидим не просто так в кафетерии, кафетерий вместе с кинотеатром — образец новейшей архитектуры; мы сидим и едим внутри образца. И снова то же странное впечатление; то ли дряхлости — ну, нет, тут никак не подходит, то ли, значит, незаконченности, недостроенности, какой-то брошенности впопыхах. Грубо, кое-как уложенный кафель, корявый бетон со следами опалубки, рваные необлицованные провалы, уже выщербленные или еще не заполненные. Да и как-то все не вяжется с окружающим: в ажурные, фигурные и еще какие там отверстия проглядывают грязные соседние стены, и всюду рядом с фасадом — испод, хоть шоры надевай на глаза.

— По идее неплохо, — говорит Олег, — но строят халтурно, это уж точно. У нас и то аккуратней. А уж в Венгрии — никакого сравнения. Там тебе возьмут простой бетон, но так его ювелирно залиют, что не то что смотреть, — рукой провести приятно.

— Л у ч ш е в Венгрии, — спрашиваю я, — чем в Армении?

— Ты меня не путай. Строят — лучше. Зато здесь, в Ереване, мне что нравится: говоришь — и все тебя понимают.

Я киваю ему, я улыбаюсь, я слушаю, я извлекаю свой сентиментальный смысл. „Да, — думаю я, — это ты верно, это ты, может, в самую точку. То есть, так ли это или не так, но будем надеяться, и

очень хотелось бы, потому что э т о — самое главное, а не то, как строят дома...

И потом мы сидим наверху, под открытым небом и смотрим замечательный английский фильм, где великий Питер О'Тулл, король, раздираемый насмерть жизненной силой, поджидает свою супругу-затворницу, а она, гениальная Кэтрин Хёпберн, в королевской ладье приближается к берегу, улыбается радостной кроткой улыбкой и прячет ненавидящую свою любовь на дне огромных прекрасных глаз, как бы сдавленных узкой косынкой...

Я завидую Олегу, он смотрит впервые. Широкий цветной подвижной экран обрывается в черную пустоту. Звезд не видно; то ли мешает свет от экрана, то ли уже набежали тучи, откуда? такая была жара. Я чувствую, что кино — это лишнее, на сегодня и так достаточно. Перенапряжение, перевозбуждение. Я не привык так резко менять свой быт. Самолет, Тигран, чужая квартира, чужая речь, предстоящие дни... Рядом Олег, вполне чужой человек, с которым я тоже вот так — впервые. Вокруг армяне, на экране — Питер О'Тулл... Нет, это много, слишком много, невозможно вместить. И вдруг — дробный такой говорок, и с ходу, нахрапом, огромный дождь обрушивается на наши головы. Мы хватаем все четыре зонта, не сразу сходимся на одном, наконец раскрываем, подсовываем головы, затем отделяем еще один. „Как мы кстати-то, — говорит Олег. — Ну, как будто нарочно нам их подбросили”. К ручке моего зонтика припутались нитками этикеток два других, зачехленных, так и висят. Половина зрителей исчезает (и так их было негусто), оставшиеся прикрываются, кто чем может, или жмутся к стене у экрана. И вдруг мальчик лет десяти, в шортах и тенниске, весь трясущийся, подлезает ко

мне под укрытие. „Ты откуда взялся? — говорю я ему, — как тебя пустили, фильм — до шестнадцати?“ Он отвечает на почти непонятном русском, я различаю только, что „деньги дал“. Комбинатор! Я сажаю его в середину, между собой и Олегом, так теплее. И вот мы сидим под этим кавказским дождем, под японскими зонтиками, в Ереване, бригадир четвертой бригады Олег, армянский мальчик и я, и смотрим английский фильм, дублированный на русский.

„Да, я спала с твоим отцом, спала!“ — радостно кричит королева Генриху, и он в ярости катается по соломе и обдирает пальцы о каменный пол.

Я то и дело сползаю глазами с экрана, прочерчиваю морозящую тьму и растерянно озираюсь вокруг. Как вместить мне в слабом моем сознании всю эту бесконечную странную жизнь? Разве только так: срываясь на обобщения, отдаваясь частности в каждый простой момент.

— Согрелся? — спрашиваю я у мальчика.

— Да, — говорит он, — хоро-шо, тип-ло!

5

Тот первый день еще так скоро не кончился, еще было позднее возвращение, осторожное, с оглядкой, не пропустить бы дом, и в чужую дверь со своими ключами, который сверху, который снизу, только разуться и мимо — в комнату, но хозяйка наша еще не спит. „Ну как? — спрашивает, — какая картина, идемте, чайник как раз закипел, чай у нас не совсем хороший, индийский почти никогда не бывает, а грузинский тоже второй сорт, так сама себя обманываешь, вот, думаешь, чаю попью, а начинаешь пить — никакого вкуса, только что под-

крашенный и горячий, варенья побольше, и то хорошо...”

И вот мы уже сидим за большим столом, пьем чай, грызем прошлогодние пряники, обсасываем кислотоватую кизилловую мякоть, сплевываем косточки, не промазать бы, в ложечку, и мирно беседуем под гул телевизора. На экране сначала женщина-диктор, затем ее сменяет пожилой мужчина с депутатским значком в петлице. Его галстук выпукл и симметричен и кажется наклеенным, как бутафорский нос. Голова неподвижна, взгляд устремлен в открытый космос, который только для нас — пустота, для него же — средоточие высшего смысла, поскольку именно здесь, впереди, где-то, быть может, на нашем месте, расположен текст его выступления. Армянский дурак приятнее русского: я хоть и понимаю его дословно, но все же как бы не слышу. Он мне не мешает, и даже напротив. В паузах, которые мне нечем заполнить, я могу смотреть на него, слушать и свободно прилаживаться к следующей фразе.

У Цогик Хореновны трое детей, и все мужчины, и все инженеры, и все такие же точно, как Норик — заботливые и добрые. И отец их был такой же — мягкий и добрый. Но, наверное, таким быть нельзя, время сейчас, ну, просто дурное, чего не выхватишь сам, того не получишь. Нет, почему же, я так не сказала, не надо быть злым, это конечно, но и такими, как они, это тоже слишком. У Норика двое детей, давно защитил диссертацию, а все еще младшим, старшим никак не берут, я говорю ему, может быть, надо кому-то, знаете... У нас в Армении — не то что у вас, без этого ничего не добьешься. Ну, много бы он и не мог, но братья бы все собрались, наскребли бы несколько сотен... А у Налика сына забрали в армию, такой нежный тоненький мальчик,

думать о нем без слез не могу. Другие, знаете, сейчас какие. Молодежь. А он совсем не такой. Книжки и книжки, в английской школе, по-русски много читал, по-английски читал, как по-русски. Зрение — шесть с половиной. Ничего, взяли. Теперь они всех берут без разбору. Сначала он написал, что не выдержит, а сейчас в госпитале лежит, там полегче, и письма стали получше. Может быть, его забракуют, а? Как вы думаете, минус шесть с половиной?

Потом мы сидим у себя в комнате, потрошим портфели и чемоданы, сортируем детали и инструменты, выкладываем носки и зубные щетки. Олег копается в описаниях и вдруг, из-под их бесчувственной груды, вытаскивает четыре аккуратненьких книжечки: Есенин, Евтушенко, Расул Гамзатов и „Лирика русских поэтов”... Не только удивление, что естественно, но какой-то я чувствую смутный толчок от странной закономерности этого списка.

— Это, — говорит он, — мои спутники, я их всюду с собой вожу. — И немного смущается, самую малость. — Ты как, — спрашивает он, — к Расулу Гамзатову?

Что мне ему сказать?

— Я, знаешь, — говорю, — предпочитаю Джамбула Джабаева.

— Нет, серьезно. А к Евтушенко как?

— Серьезно — к лирике русских поэтов.

Я отвечаю ему не вполне внимательно, я занят своей догадкой.

— А Есенин?

— Что ж, Есенин, конечно...

Он начинает декламировать деревянным голосом:

„Устал я жить в родном краю в тоске по греческим просторам...”

И тогда я окончательно утверждаюсь.

— Ну, а теперь с в о е почитай, — говорю я ему как ни в чем не бывало.

Он краснеет, но улыбается.

— Откуда ты...

И верно, откуда?

Да простит меня тень Сергея Есенина, но Есенин одно, Евтушенко другое, Гамзатов... ну, допустим, третье, но вместе... Какие уж тут сомнения!

— Ладно, — говорю я, — в другой раз. На сегодня достаточно.

И он с сожалением соглашается. Жаль мне его, но и сил моих нет.

Глава третья

ЖИВЕМ

1

Все простые утренние операции надо произвести совершенно неслышно, все только шепотом и на цыпочках, с неестественным сдерживающим усилием, как в замедленном фильме, трогая двери и другие предметы. Все это просто у себя дома, а здесь, в совершенно чужой квартире... Короче, когда мы уже с портфелями добираемся до своих пиджаков и туфель, и уже в пиджаках, приседая, шнуруем, еще секунда — и мы за дверь, — возмущенный голос Цогик Хореновны поднимает наши очи горé.

— Как! — говорит она (доброе утро!), — без завтрака?

Но главное у нас впереди, в институте.

— Видите ли, — мнется Тигран.

— Так получилось, — поясняет Норик. — Видите ли, так получилось, что вы приехали, а мы еще к вашему приезду не готовы. Мы вас ждали позже, думали так: пока провернется вся эта машина... А у нас здесь спор между отделами, неизвестно, кому какая комната и, значит, куда его ставить, этот прибор. Так что если у вас есть другая работа... А мы тут пока что выясним наши дела.

И вот мы уже едем из этого Био-гео в Гео-био — совершенно другой институт.

— Вот увидишь, — говорит мне Олег в автобусе, — срок нашей командировки кончится, а они ни о чем не договорятся.

— Это бы ладно, это нам наплевать, если бы мы не жили у мамы Норика!

— Ну, это тоже как раз чепуха. Они обязаны нам предоставить.

— Знаешь, обязаны — это одно, а тут конкретные отношения. А если еще мы им ничего не сделаем — пусть не по нашей вине, — то выйдет, что приехали просто так, посторонние люди и вот живем.

— Ерунда, старик, не бери себе в голову, не надо быть таким щепетильным. Мы с тобой ничего плохого не сделали и нечего мучиться понапрасну.

Автобус крутит наверх, наверх, на автобусе это „наверх“ не кончается, и мы еще долго ползем пешком на высокую, сугубо научную гору, сплошь уставленную институтами. Молодая женщина в больших очках поднимается вместе с нами.

— Гео-био? — говорит она. — Идемте со мной. Впервые в Армении? Ну и как вам? Так уж и прекрасно? Не обольщайтесь. И не спешите ничего обобщать ни в ту, ни в другую сторону. Нет, у нас, конечно, много приятного, но и всякого, как и

езде. И, пожалуй, найдется кое-что сверх... Но взгляните, какой отсюда вид.

Мы оглядываемся. Город остался внизу, во впадине, за шоссейной дорогой. Видно не очень ясно, но кое-что видно.

— Да, — бормочу я, — сложный рельеф оживляет...

— О, это еще не сложный рельеф. Вы еще увидите, если успеете. И жаль, Арарат сегодня в дымке. Взамен посмотрите на Арагац.

Мы поворачиваемся вперед и налево. Горы как горы. Красиво, но что сказать. И мы переходим на анкетные данные. Сюзанна — так зовут эту женщину, оказывается, нас-то и мечтала встретить. Нет, у нее не ТГС-12, это у Миши, шестая комната, у нее старенький СО-4, но, может быть, мы не откажем в любезности. Пропадает серия, чуть ли не год работы. Что ж, мы не откажем.

Здание института совершенно новое, год или два как построили. Впечатление незаконченности, уже ставшее привычным. Серая строительная пыль по углам, ящики, козлы, бухты кабеля. Из четырех лифтов работает один, но вниз не ходит, а вверх — не всегда. Приборы, оборудование... Господи Боже!

Много таскаясь по разным научным гнездам, я, со свойственной профессионалам узостью различая их все по оснащенности техникой, часто с удивлением отмечал бесконечную градацию в этой области, редко поддающуюся прогнозам. Какая-нибудь осколочная лаборатория, маленькая отдельная группа, неизвестно даже к кому относящаяся, и — пожалуйста: английская центрифуга, японский флюориметр, шведский анализатор. В чем дело? — в том, что муж заведующей... Ну ладно, это еще понятно. Но вот университет Лумумбы, чисто показушная

организация, уж, казалось бы, тут-то должно быть все с иголочки, как игрушечка, — нет, сплошная рухлядь. „Что ты! — сказал мне лаборант Алеша, с которым мы долго друг к другу принюхивались, исследуя на предмет стукачества. — Что ты, какие приборы, зачем? Мы — идеологическая организация, на это и тратим деньги”.

Обычно же дело обстоит так. Входишь в лабораторию, оглядываешься и видишь: здесь живут богатые люди. У богатых, будь они деловые, будь хоть бездельники и дубари, есть общее в поведении и разговоре: спокойствие, достоинство, даже часто важность, при этом обилие терминов, кличек, всяких английских словечек. У бедных наоборот: суета, торопливость, растворенная в воздухе неуверенность, язык бытовой, упрощенный, какие уж там словечки при такой-то убогой технике! С чисто научными результатами, если признавать существование таковых, все это связано сложным и противоречивым образом. Помнится, я работал в лаборатории, где эта разница в оснащенности, а следовательно, и в стиле жизни, наблюдалась в двух соседних комнатах. В одной без конца паслись инженеры и техники, а также слесари, столяры и электрики, туда — с ящичками, клетками, водяными банями, обратно — с темными пузырьками-„рыжиками”, оттопыривавшими карманы халатов. Сюда же водили и иностранцев. „Энд зыс из электрофизиолоджи бокс, констрактыд бай мистер Ткаченко”. Занимался же мистер Ткаченко тем, что с помощью зарубежной аппаратуры и новейших средств автоматизации подтверждал выводы и результаты, полученные за сто лет до него. А в это время в соседней комнате, где стопки реферативных журналов обеспечивали необходимые наклоны трубок и взаимные уровни колб и где самым сложным при-

бором был дистиллятор, в этой комнате Сеня Сагал, никакой не мистер, открыл новый черный фермент, ужасно, как тогда говорили, важный и чуть ли не на все на свете влияющий. Впоследствии Сеня разбогател, тоже нахватал заграничных железок, но больше уже ничего не открыл, зато любит и сейчас вспоминать свою честную бедность, те свои талантливые колбочки-трубочки и особенно — стопки реферативных журналов.

2

Олег — на первый этаж, к Мише, я — к Сюзанне, на третий этаж. Не знаю, как здесь обстоит с наукой, давно меня не волнуют такие вопросы, но техническое убожество вопиющее. Все — рухлядь и прошлый век. Теснота тоже вполне соответствует. Прибор старенький, весь разболтанный, кое-как еще на столе умещается, а уж блок питания — под столом, и подлезть к нему почти невозможно, и светскую беседу, которую мы с ней ведем непрерывно, я продолжаю уже на карачках с тестором под мышкой, с рукояткой отвертки в кармане, с ощущением твердой крышки стола на голове.

— А картинную галерею, — спрашивает Сюзанна, — вы уже видели? Обязательно посмотрите. Во всей стране ничего подобного нет. Любые формы современной живописи, и есть безусловные мастера.

Я мычу нечто восхищенно-удивленное, с трудом удерживая равновесие, исхитряясь почти боковым зрением отметить положение стрелки прибора.

— А в Эчмиадзине еще не были? Ну и, конечно, Гарни-Гегар.

— Мы же только вчера приехали, — говорю я, заменяя лампу.

— А, ну тогда, конечно! Мне казалось, вы здесь неделю.

— Нет, только вчера. Да, да, Эчмиадзин, Гарни, Гегард... Обо всем этом я только читал.

— У кого именно?

Я называю.

— А, эта! Знаменитая вещь. Сколько у нас здесь было шуму. А я прочла и мне не понравилось. Знаете, Армения там только в названии, а написано-то все о себе, об авторе. Такой раздражающий эгоцентризм. Вы не находите?

Я вылезаю из-под стола, с трудом выпрямляясь. Мой рост кажется мне гигантским, голова взлетает под потолок.

— Нет, — говорю я, — не нахожу. Вы говорите — эгоцентризм, где Армения, нет Армении. Но разве страна — Россия, Армения, Франция — разве может быть страна предметом искусства? Поводом — вот чем она может быть, и это в лучшем, счастливейшем случае. Такой случай тут и представился. И если вы такая патриотка Армении, то и радуйтесь, что именно ваша страна еще раз послужила поводом.

— Ого, как вы это горячо. А не много ли чести?

— Не много. Как раз в меру.

— Хорошо. Значит, Армения — только повод. Что же предмет?

— Ясно, что. Человек. Ну, скажем, душа...

— Так, человек. Но почему же именно автор?

— Вы хотите сказать, почему не армянин? Выбрал бы автор подходящего армянина, взял бы у него подробное интервью, а затем написал бы о его душе. Верно?

— Ну, зачем же так упрощать. Значит, что же, по-вашему, вообще нельзя написать о стране, о городе?

— Почему, можно, очень даже можно. Этот писатель, я считаю, как раз написал. Но даже абстракт-

ный путеводитель отражает не только объект, но и тех, кто этот путеводитель сочинял, или тех, допустим, кто стоял у авторов за спиной.

— А вы, оказывается, идеалист.

— Ну что вы, где нам, вы мне льстите.

Она смеется. А я сникаю. Я чувствую, что слегка зарвался. Нет, она очень неглупая женщина, но э т о г о ей не надо. Я еще немного проскакиваю по инерции.

— Русская литература, — говорю я, как будто в вату, — всегда была сильна не социальным анализом и даже не точной деталью быта, а как раз вот этим внутренним видением.

— Русская литература... — повторяет она. И вдруг: — А вы... русский?

За два дня это только второй раз, но уже мне ясно, что не последний. Что ж, беседуем и на эту тему. Но один вопрос — основной и один — дополнительный:

— А язык с в о й вы знаете?

Боже, как просто спросить и как сложно ответить! Не знаю. Или: мой — это русский. И с какой интонацией: легкомысленной, грустной, гордой. То мгновение, что я промалчиваю перед ответом, я слышу, наполняется сухими щелчками: это лопаются готовые формулы, так надежно работавшие в России. Я — русский, я самый настоящий русский (имелось в виду: такой же, как все). И если бы не проклятая отметка в паспорте (имелось: не длинный нос, не форма глаз и ушей, не походка, не детские впечатления, не образ мышления, наконец), то я бы никогда и не вспоминал. А язык — да Господи! — ну, конечно, этот, и только он. Этот вседуший, разлитый в любом пространстве, заполняющий каждый предмет, составляющий суть любого явления, обожаемый до боли, до сладострастия, зна-

комый до тонкостей, до извращения, и все же вечно непостижимый, мучительно ускользающий в каждый момент, — какой же еще, как не этот! Какой же еще мне родной, когда я никакого другого и знать не знаю... И вот тут-то может быть червоточина. „Никакого другого не знаю”, — говорю я обычно; и точно ли? да, пожалуй, так — с гордостью. Уж во всяком случае, без сожаления. Потому что это лишний раз подтверждает. Конечно, еврей, я не отказываюсь, но, по сути, граждане, какой я еврей? Я ведь и языка-то такого, еврейского... И на всякий случай: никакого другого, никакого-никакого-никакого другого, кроме нашего с вами русского (я ж тебе русским языком говорю. Или иначе: ты, что, не русский. Шутка) .

Когда мой сын, едва научившись словам, лепетал обычное детское „лак” и „лыба”, нянечка в яслях сказала: „А может, он так и буить всегда, у вас ведь вся нация такая”.

И сейчас, медля всего лишь мгновение перед тем, как ответить Сюзанне, я впервые чувствую, что лучше бы мне — утвердительно. И тогда бы мы с ней понимающе улыбнулись друг другу, что мой русский это, конечно, само собой, ну как же, великий язык, чуть ли не всечеловеческий, мы его знаем, она и я, как же иначе, высокие мысли, высокие чувства, тонкости стиля... но и свой родной, армянский, еврейский, мы тоже, конечно, знаем и любим. И с наивной гордостью отмечаем, что вот и у нас бывает: такая точная фраза, а по-русски ну ни за что не скажешь. Но любим мы свой язык не за то-то и то-то и даже не за то, что он — единственный, а за то, что боль его — наша боль, кровь его — наша кровь и судьба его — наша судьба...

Мне вдруг показалось, что в этот короткий миг, на второй день моего пребывания в Армении, я по-

нял, чего не хватает в родном языке, если он не родной тебе по крови: в нем не хватает с у д ь б ы . Какой бы вклад ни вносили в русский язык татары, евреи, немцы и прочие („Бодуэн де Куртенэ” — почему-то маячит в сознании), судьба его останется судьбой русского — этого, и никакого другого — народа.

„Господи, — думаю я, — какое несчастье! Такой близкий, такой мне родной — и все же чего-то не воплотивший. Нет, я так просто не соглашусь, я еще буду думать, быть может, тут что-то не так...”

— Нет, не знаю, — говорю я Сюзанне. — Разве что несколько слов и фраз... Пусть прогреется, — говорю я ей о приборе и спускаюсь вниз во двор погулять. К Олегу я сейчас никак не могу, очень мне одиноко и грустно.

3

Жарко, но не смертельно. Просто очень тепло. Я медленно обхожу вокруг здания, толкаю калитку ограды и оказываюсь на кладбище. Там, прямо за оградой — кладбище, ничем не огороженное (ограда институтская), просто в редколесье, на пологом склоне выкопано несколько сот могил и поставлено несколько сот памятников. Памятники все, как один, гранитные, в основном завитые армянские кресты и такие же завитые армянские буквы. Только цифры — наши, то есть, конечно, арабские. Русской надписи нет ни одной, и я ловлю себя на том, что мне это странно. Странно думать, что кому-то легче написать по-армянски, чем по-русски. Или даже по-русски совсем невозможно, а только по-армянски. На многих могилах надписи сделаны

по-еврейски, но это вовсе не значит, что писавшему было легче так, чем иначе. Часто надписи гравировал русский мастер, просто выучивший начертания букв или даже слепо копирующий трафарет. И тогда это уже и не надпись вовсе, как, например, моговид — знак, что под данным камнем лежит еврей.

Я сажусь на чистую, крашенную черной краской лавочку возле камня с цифрами 1868—1953. „Родился с Горьким, — думаю я, — умер со Сталиным. Или роди-лась?” Уже этого мне ни за что не узнать. „Как люб мне язык твой зловещий, твои молодые гроба, где буквы — кузнечные клещи и каждое слово — скоба”. Люб — не знаю. Но пока, я бы сказал, любопытен. Просто мучительно любопытен.

Тени здесь нет, но мне и не хочется в тень. Мне приятно сидеть вот так на солнце, такая ласковая сегодня жара и от нервного озноба хорошо помогает...

Так что же это значит: писать на своем, нерусском, родном языке? Нет, я, конечно, не о могилах. Что должен чувствовать армянский писатель, и не какой-нибудь усредненный, а настоящий армянский писатель? Ну, например... ах, что за игры, я прекрасно знаю, пример у меня один. Да, пусть так, что он должен чувствовать, это писатель, сидя в крохотной стране, среди чудом сохранившегося народа, выписывая, выписывая свои курчавые, никому в мире не понятные буквы и зная, как говорил Петрову Ильфу, что до него уже были Флобер, Толстой, Мопассан? И Флобер и Мопассан — это холодно, холодно; Толстой — это уже теплее, но стихия иного великого языка, с величайшей, быть может, литературой, окружающая, захлестывающая со всех сторон — как ему это по ощущению? Не говоря уже о круге читателей, ко-

торый должен быть здесь не намного шире круга родных и друзей.

Вот что она делает с людьми, Армения. Я как будто попал на другую планету, в неизвестное мне силовое поле и, как герой фантастического рассказа, нехотя, беспомощно перебирая ногами, двигаюсь в направлении его вектора. И ведь никто мне, по сути, ничего не сказал, никаких не произошло со мной событий, это все лишь он, невидимый вектор Армении, неуклонные силовые линии. Там, впереди, быть может, гибель — ничего не могу поделывать, лечу. Вот только унижительно — спиной вперед, уж лучше повернусь лицом.

Итак, ощущение соответствия. Ощущаю ли я — несоответствие? Могу ли я его ощутить, не имея никакой другой возможности? Или скажем так: мысля по-русски и только по-русски, то есть некоторым определенным образом, можно ли тосковать по иному мышлению? Но тогда еще: а действительно ли по-русски я мыслю? Ах, уж тут, казалось бы, какие сомнения, тут же просто нет вариантов. И все же: а не остается ли еще чего-нибудь, маленького какого-нибудь остаточка, требующего иного способа выражения? Вот именно, что остается!

Я даже вскакиваю со скамьи и, засунув руки в карманы, иду по дорожке. Вокруг нет никого, только выше, вдали, уже на живой земле, не кладбищенской, мальчишки сшибают орехи с деревьев. „Армянские дети”. Нельзя удержаться, чтобы мысленно не сказать. Вглядываюсь целенаправленно. Дети как дети. Ну, черненькие. Нет, один даже светлый. Не пытайся, ничего тут не извлечешь. Лучше двигаться дальше. Двигаюсь дальше.

А по-русски ли ты, дружок, мыслишь? Хороший вопросик со стороны. Как по-разному могут звучать одни и те же слова, смотря по тому, кем произносятся. Впрочем, сейчас уже так примитивно никто не спрашивает, разве какой-нибудь алкаш в автобусе. Мой приятель, начитанный человек, христианин, аскет и мистик, выражает эту идею значительно тоньше. „Ты — хороший человек, — говорит он мне, — ты никому не делаешь зла, а какой-то там захват власти — это тебе смешно и подумать. А тем не менее, бессознательно, а вернее даже сверхчувственно, независимо от собственной своей воли, но в полном соответствии со своей природой, ты участвуешь в общем стремлении евреев к мировому господству!” Вот так, просто и совершенно неуязвимо.

Но пусть мы отбросим мировое господство, все равно еще кое-что у нас останется, нечто, может быть, менее одиозное, но зато более специфическое. И окажется, что даже пародийный идеал этому нечто как раз соответствует и худо-бедно, а отражает какие-то особенности национальной души. В нем, не в том, что означает фраза, а в самом строе и звучании языка уже содержится весь тривиальный ряд, составляющий историю и характер европейского, по крайней мере, еврейства. Все эти гетто, местечки, шинки, погромы, лесть и хитрость, мягкость и юмор, тоска и горечь, плач и тоска — все это содержится в любом тексте, в песенке, в басенке, в отрывке разговора. Недостаточность перевода простейшей фразы мгновенно обнаруживает эту тайную особость, обнаруживает, не выявляя. Даже для меня, почти не знающего языка, еврейская фраза из еврейского быта порой звучит тепло и наполненно, а соответствующая русская — пусто и холодно. Ничего не поделать.

„Шишков, прости, не знаю как перевести!” Не всю душу мира включает в себя великий язык, но лишь душу и судьбу народа, его создавшего. Остающиеся вне перевода особенности, если попытаться их сформулировать, могут звучать в нем очень честно; ущербность, двусмысленность — но это не меняет дела, ты слушаешь и чувствуешь: это т в о е. Вот сестры Бэри — наивные песенки — а только с десяток знакомых слов, а только угадывание смысла, который не стоил таких усилий, — но какое ласковое хмельное тепло и какая уютная детская радость! Откуда это оно берется, какое из восклицаний отражает суть: все-таки воспитание, или все-таки детство, или все-таки кровь? Я воскликну: все-таки кровь, но не потому, что в чем-то уверен, а для вящей универсальности, в том смысле, что все-таки ч т о - т о есть. И едва успокоившись на этом слове, выверну действительность наизнанку — и в ужасе отпряну от такой возможности, и вздохну с облегчением оттого, что она невозможна!

Если бы этот язык был моим родным. Страшно подумать!

Шолом Алейхем — в мозгу мотается колокол. „*Шолом Алейхем*” — туда-сюда, двойной, но один и тот же звук. И как будто локтями упираешься в стены; душно, накурено, полутемно, а за дверью свежий воздух и свет, которые смертельны для глаз и легких...

И еще одно имя: *Бабель*. Бабель. А он кто такой?

Нет, у Бабеля евреи говорят по-русски. Это искаженный, стилизованный русский, сильно деформированный в еврейскую сторону, и все-таки это русский язык, не иной. Он двусмыслен, и в этом его эффект. Там угадываются два противостоящих фона, между которыми происходит действие: настоящий еврейский язык персонажей (идиш и немного

древнееврейского), с одной стороны, а с другой — чисто русский язык интеллигентного автора. Бабель знал еврейский, мог ли бы он — на нем? Так же ли, лучше ли получалось бы? Нелепый вопрос. Если владеешь и малым языком и великим — можно ли выбирать?

Я дохожу до конца кладбища, упираюсь в проселочную дорогу. Глубокие ямины в колеях, которые там, у нас в России, обязательно были бы наполнены водой, здесь растресканы и сухи до самого дна. (Я не знаю еще, что вчерашний дождь выпал специально для японского зонтика, что он был единственным за прошедший месяц и останется единственным за все предстоящие дни.) Поздно уже, пора назад.

„Что же дальше, — думаю я, — какой выход и как жить?“ Как будто мне нужен какой-то выход и как будто есть у меня выбор. И все же я что-то себе отвечаю, подозревая, что это не вывод и следствие, а лишь композиционное завершение, удобная завитушка в финале, чтобы не мучило, не сверлило потом. „Все в порядке, — говорю я, — не только не плохо, но и прекрасно. Потому что в творчестве, как и в природе, только двойственность приносит плоды. И другие ищут ее в себе, души выворачивают наизнанку, а тебе — пожалуйста, от рождения дано. И, конечно, поиск — само собой, но нечто всегда уже есть в запасе. Радуйся же, и восхваляй Господа и будь благодарен за все!“

4

Начинаются наши трудовые будни на дружественной территории. Мы встаем в семь. Олег раньше, полчаса он корчится на широком балконе,

как вытасченный из земли червяк, в судорогах йоговской гимнастики. Завтракаем почти всегда одинаково: мацун, сыр, колбаса, огурцы, помидоры. Наши продукты лежат в холодильнике, Цогик Хореновна аккуратно их избегает. Вот наше масло, а вот ее, мы можем пользоваться и тем и другим, а она — только своим. Только чай мы ссыпаем в одну коробочку, и его нельзя уже отделить. Чай грузинский, низкого сорта, сколько ни заваривай, одного цвета и одного дурноватого вкуса. Предпочтительнее поэтому кусок арбуза, или груша, или, скажем, яблоко. В магазинах колбаса только вареная, одного сорта, сыр, если есть, то пластмассовой твердости, а родного армянского, всеми любимого здесь чанаха, почти не бывает. Овощи и фрукты не убийственно дешевые, цены чуть ниже, чем в Москве в августе, а времени приходится тратить побольше, двадцатью минутами нигде не отделаешься. Очередь здесь приобретает особые черты. За арбузами, допустим, пять человек, у нас это называется „нет никого”. Занимаю, стою, болтаю авоськой. Подходит красивый седой старик, обращается ко мне, я как всегда извиняюсь: „Будьте добры, если можно, по-русски”. Он улыбается, переводит: „Вы — *крайний?*” „Последний” здесь тоже не говорят, мы уже успели им сообщить из Москвы, что это оскорбляет законную гордость рядового члена советской очереди. (Временами на этого члена что-то находит: он проявляет удивительную способность к абстракции.) И так, за мной заняли, я утвердился на своем месте, проходит двадцать минут, а продавца нет. Нет, строго говоря, и арбузов, два-три с кулачок лежат на прилавке, а то, что хочется и надо купить, — где-то там, в глубине, в магазине, в подвале, не знаю, где. Мои соседи переговариваются, но мне неудобно спросить. Наконец, в магазине

какой-то грохот, и двое мужчин, непрерывно крича, то ли друг другу, то ли кому-то третьему, вывозят на тележке клетку с арбузами и подкатывают ее к весам. Ну, сейчас... Но нет, опять не то. Вынимают, кладут один за другим на весы, вот на весах уже целая куча, и подкатывает вдруг скрипучий „уазик”, из него выскакивают, открывают кузов, грузят, суют деньги, машут руками, кричат. Толпа — а за мной уже целый хвост — тоже не молчит, добавляет свое. Продавцы отмахиваются, не глядя. Наконец „уазик” отчаливает, очередь приходит в боевую готовность. Тронулось, продают. Женщина, стоявшая самой первой, берет три штуки в одну авоську, берет три штуки в другую авоську, и по две штуки берут две ее девочки. С разговорами тоже — минут семь. Но что-то они мешкают уходить. А, ну вот. Подбегает еще одна женщина, может быть, соседка, вклинивается, притирается животом к прилавку, а та, первая, ее прикрывает. У этой второй нет девочек, но зато у нее есть бабушка, совсем скрюченная старушка, но на пару арбузов еще потянет. Остальные в это время тоже не дремлют, получают пополнение или ждут его. Молодому интеллигентному на вид человеку с короткими бачками, в замшевой куртке такой же интеллигентнейший чистенький мальчик приносит полосатый матрасный мешок. Очередь движется в обратную сторону, вернее, разбухает вправо, как флюс: именно назад никто не сдвигается из чисто принципиальных соображений...

Я выхожу, комкая свою авоську, и отхожу на противоположный угол, в тень, и там стою еще какое-то время, поглаживая, заглаживая хвост раздражения. „Ты с ума сошел, — говорю я себе. — Ты с ума сошел, на кого ты злишься? Разве они в чем-нибудь виноваты? Они — наоборот, они молод-

цы. Не они придумали эту очередь, им ее навязали как факт, и они обходят, как только могут, и, хотя бы в этом несоблюдении, в этом уклонении от формы и строя, проявляют себя живыми людьми. А арбузы — черт с ними, с арбузами. Им — для детей, а тебе для кого? Когда это ты так для себя волновался? Поди-ка лучше кофе попей...”

Зато кофе можно выпить на каждом шагу — в магазинах, кафетериях и в специальных кофейнях, и в кофейнях бывает даже очень вкусный, приготовленный по-турецки, в джезвах, в черном раскаленном песке. Повсюду висит объявление: восемь копеек, но надо дать, как минимум, пятнадцать, и это не пресловутое кавказское рвачество, а естественная рыночная цена. Сухого кофе в продаже нет, его привозят сюда из Москвы, где тоже очереди — на час, и полкило — в одни руки. Говорят, что буфетчицы, полухозяйки кофеен, покупают кофе на черном рынке по двенадцать рублей за килограмм. Так что все еще очень по-божески*.

Утром я пью свою чашку кофе внизу в булочной. Иногда Олег ко мне присоединяется, но чаще берет стакан виноградного сока. Здесь уже не раскален-

* Стремительно меняется наша действительность: едва скажешь о ней хотя бы два слова надо тут же проверить, не опоздал ли. В данном случае как раз опоздал. Начинал писать эту повесть — кофе был по четыре с полтиной, а еще не успел до середины дойти, как уже — двадцать рублей. Взамен подешевели на пятнадцать процентов литые сапоги из какого-то пластика. И вот все у меня, казалось бы, то же: тот же стол, та же машинка, та же рукопись о том же предмете, но — чашка на столе совсем другая: кофейный напиток „Кубань”, по двадцать копеек пачка. Цикорий, рожь, овес и ячмень.

ный песок, а машина „Экспресс”, и кофе похуже, может быть, из отжимок. Но продавщица — очень милая женщина, стройная пожилая еврейка, то есть, конечно, армянка, но очень похожа. Армян, похожих на евреев, — множество, и, вероятно, от этого я тоже иногда чувствую себя в-а-а-сточным человеком. Вот подходит к нам бородатый дедушка, очень похожий на моего, в каких-то калошках на босу ногу, сейчас спросит с еврейским акцентом... но он спрашивает с армянским.

Мы выходим и идем напрямиком на главную улицу — на проспект, разумеется, Ленина, ждем там минут пятнадцать автобуса, наконец, втискиваемся и едем. Автобус проезжает через весь проспект, затем сворачивает направо, это „Московян” — Московская улица, действительно напоминающая Москву уникальной своей длиной и закрученностью, и мимо модернового фонтанно-озерного сквера, дальше, дальше, „Налбандяна”, „Алавердяна”. Немного саднит от этих окончаний. Они однообразны в любом языке, но в русском хотя бы не под ударением. На этом фоне приятно сказать „Саят-Нова” и „Чаренц” или безличное, но прекрасное „Тпагричнери”. Это песенное, лестное для языка слово, означает — Улица Печатников, потому что „тпагрич” по-армянски типография. Автобус делает размашистый прицельный вираж, двигатель обнаруживает свое существование, и начинается долгое взятие горы, где спиралями, а где по прямой, с расслаблением мышц на редких теперь остановках. Разговоров не больше, чем в московском автобусе, старики потише, молодежь погромче, но здесь все слова на слух равнозначны, и поэтому автобусный разговор для меня все равно, что научный симпозиум. Но, между прочим, действительно, ни в какой толпе, самой спрессованной часом дня, не видел я здесь

озлобленных лиц и не слышал проклятий в адрес соседей. И еще — совсем уже между прочим, но кстати: ни разу не видел на улице пьяного. Не то чтобы там в подворотне, в моче и грязи, и даже хотя бы развеселого, шаткого, приставучего и слюнявого забулдыгу, какие у нас ну просто на каждом шагу. И это не значит, что здесь не пьют, армяне любят и умеют выпить, но то ли неизменно чувствуют меру, то ли не выносят чрезмерность на люди, то ли, как свойственно интеллигентному сознанию, в любом состоянии сохраняют бодрствующим некий автоматический контрольный центр...

Мы тоже разговариваем по дороге, соседи не проявляют никакого внимания, как будто мы говорим по-армянски. Нас по-прежнему интересуют деловые вопросы: юстировка, равенство по энергиям, плавность хода магнитной муфты... Но я уже помню Расула Гамзатова и смотрю на Олега иначе, чем прежде. Он и всегда мне нравился, этот парень: наивный, прямолинейный идеалист, возомнивший себя деловым человеком. Он как будто решил и выбрал, хотя выбора у него не было, и вогнал жизнь свою в колею: планы, расценки, партийные взносы, левые заработки, тяжбы с начальством, любовь к технике, труддисциплина, крутеж-мухлеж, интересы завода... В этой странной смеси принудительного бескорыстия, безусловной корысти и дозволенных чувств он как-то ухитрился сохранить естественность, хотя и без взгляда со стороны, а быть может, как раз потому, что без этого взгляда. И вот оказывается вдобавок, кто бы подумал, что это для моего бригадира Олега не единственная среда обитания. Более того. Не какое-то там расхожее хобби, не подледный лов и не разведение шампиньонов, а высшая отрешенность — поэт, так сказать, наш брат-литератор. Трогательно, ничего не скажешь.

— ... и головку надо у винта спилить, — говорит он занудливым менторским тоном. — Тогда она не будет вылезать за край и можно будет утопить кольцо... Ты чего? А тогда уже... Ты чего улыбаешься?

Мы взбираемся на научную гору, срезая угол. Идем по жухлой траве, среди кучек отбросов, и большие крысы выбегают у нас из-под ног. Слева, уступами — институты, справа — современный жилой массив, унылое серое пятиэтажье. Иногда мы останавливаемся, оглядываемся, смотрим на Арарат. Он бывает виден очень отчетливо, действительно, впечатляющая гора, хотя ей не хватает чего-нибудь рядом: человечка, автомобильчика, самолетика — для наглядного представления о величии. Конечно, это смешная мысль, ничего такого мелкого там не увидешь, но и эта невозможность уже помогает, вносит какое-то ощущение масштаба. Действительно видишь — большая гора. Она удивительно что-то напоминает, просто мучительно на что-то похожа, она похожа... и наконец вспоминаешь: она похожа на Арарат, на собственные многочисленные изображения.

Арарат — это армянский Кремль, символ, запечатленный миллионы раз на гербах, бутылках, открытках и вывесках, в названиях ресторанов, фирм и объединений, целиком и отдельно по каждой из двух вершин. И вот так же привыкнув к изображениям Кремля, фотографическим, упрощенным и стилизованным, бегучи в ГУМ по бывшей Никольской, увидишь вдруг Никольскую башню (отчего бы и ее не переименовать? — Башня имени сорок пятого мартабря. Как только мы выговариваем все эти названия...) и вдруг слегка замедлишь свой бег, и коричневая молния на брюки сыну — непре-

менно коричневая, восемнадцать сантиметров — потускнеет в нетерпеливом твоём воображении. И подумаешь: ну надо же, настоящая башня! И с недопустимым уже легкомыслием проскочишь дальше, за угол ГУМа; а если нет ни съезда, ни сессии и выход на площадь не охраняется, то окажется, что и главная, Спасская, — тоже настоящая, из кирпича, и даже стрелки и те движутся. Ничего не придумано, все это есть.

Тут это сравнение, пожалуй, кончается, должно же оно где-нибудь кончиться. Потому что Кремль — у нас, в сердце России, а гора Арарат — за границей, в Турции, и можно только без конца удивляться, как при нашей миролюбивой политике армянам позволяют всю эту реваншистскую символику. Но если говорить об одной недоступности, то и тут еще можно слегка поиграть, отступив назад лет на двадцать-тридцать. Да мне и сейчас еще кажется, что вот этот Кремль, куда так свободно входят дети через распахнутые Боровицкие ворота, что это другой, ненастоящий Кремль, существующий в каком-то ином пространстве, настоящий же только виден, но недоступен. И если вы скажете: как можно сравнивать! Кремль, не говоря о его рукотворности, — это символ могущества, власти, владения, Арарат же — это Божье творение, часть армянской земли, символ потери... То я скажу, что и Кремль — символ потери, и, может быть, не менее горькой. Потеря территории мне лично плохо понятна. Я сочувствую армянам, но уж как могу, а еще сильнее, быть может, завидую. Я как русский всегда имел территории больше, чем надо; я как еврей никогда не имел никакой территории.

На первом этаже под шестым номером — крохотная, двухкомнатная квартира без кухни, ванной и туалета, но есть раковина с холодной водой и электрическая плитка для кофе. Все это — владения аспиранта Миши, невысокого парнишки с красивыми усами и хитроватым, но беззлобным взглядом. В передней комнатке стоит наш возлюбленный, на куски разобранный ТГС-12, и мы с Олегом над ним колдуем, а в соседней комнатке помещается Миша, крутит кофе, варит кофе, сидит за столом — пьет кофе; никогда не забывает нас угостить, но мы не всегда вспоминаем выпить. Сроки нас поджимают, это не дома, в Москве, и мы трудимся, трудимся, не покладая... Я, впрочем, менее сосредоточен, все же ответственность на Олеге, и поэтому изредка, старый сачок, оставляю его, разминаю спину и иду к Мише — потрепаться за жизнь. Миша не только пьет кофе, он еще переводит статью из журнала — на армянский через англо-русский словарь. Тоже не часто такое увидишь. „Чудак, — думаю я, — писал бы уж прямо по-русски”. Нет, русский — это не прямо, это для него только средство. Результат — это когда по-армянски, когда предельное единство текста и мысли. Я вынимаю записную книжку и начинаю с Мишей игру в слова, ту самую, в которую с неизменным успехом играли все русские литераторы, когда-либо побывавшие в Армении. О, эта тщетная попытка прорваться, достичь, проникнуть, заучив механически пару десятков слов! Представляю себе мое произношение! Итак, сначала — числительные. *Мек, ержу, ерек, чорс, хинк, вец, ет, ут, иннэ, тас.* Язык, действительно великолепный. Плотный, насыщенный, физически ощутимый. *Мек хат* — одна штука. *Мек гают сурч* — одна чашка кофе. Ну-с, что

же дальше: „Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть, ведь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить...”

Но когда мы втроем с Олегом и Мишей идем в буфет пить свой мацун и Миша спрашивает буфетчицу: „— *Паныр чунэк*”, а она отвечает: „— *Чэ, паныр чунэм!*” — я внезапно чувствую острую радость, потому что для меня это не пустое лопотанье, не какое-нибудь там каля-маля, да еще азиатское, без всякой надежды, а это он ее спросил, нет ли сыра, а она ему ответила, что сыра нет. *Паныр чунэм* — до чего же прекрасно! Сыра нет — ну просто замечательно!

Иногда я проводываю Сюзанну, с ней, единственной пока в этом городе, я действительно могу разговаривать, а не только что пользоваться словами. Мой статус иностранного гостя делает естественным и любопытным обсуждение вопросов, давно обсужденных каждым из нас в своей стране. Например, последняя повесть Трифонова. Очень жаль, конечно, талантлив, но это уже написано раньше им самим и всеми другими, экивок пятьдесят шестому году, и к тому же слишком широкий захват, и поэтому, в отличие от тех четырех... нет, она бы даже сказала — от трех, четвертая тоже... Или другая тема — кино. Тоже вопрос: отчего у грузин такие фильмы, а армянского кино как бы и вовсе нет? Как будто на это можно ответить! Но она пытается, и ответ ее мне интересен. Национальное искусство, по ее мнению, не может вскармливаться национализмом, а только терпимостью и широтой. Этот, казалось бы, парадокс, а на самом деле очевидную истину поняли грузины и не поняли армяне. И в таком коллективном и сложном искусстве это оказалось просто губительным. На Тбилисской студии — полный сбор:

грузины, армяне, азербайджанцы, русские — и пусть те фильмы делают режиссеры-грузины, но обстановку терпимости и непредвзятости создают все сообща. А только в такой обстановке и можно серьезно работать. На Ереванской же студии все не так, там не только не терпят никаких неармян, но и армяне сгруппированы, по происхождению все члены каждой съемочной группы — чуть ли не из одной деревни, и грызня между группами ужасающая. Вы себе не представляете, говорит Сюзанна, это может быть главное наше несчастье, такая маленькая страна, а местничество как в большой федерации. И талантливые режиссеры у нас есть, можете мне поверить, но работать нет никакой возможности...

Я не знаю, насколько она права, я не был ни на Тбилисской, ни на Ереванской студиях и вообще никогда на киностудии не был, но мысль ее мне безусловно нравится. Я вспоминаю, что нечто похожее слышал от знакомого киевлянина, работавшего на студии Довженко. „Что ты, — говорил он, — какие фильмы! Евреев начисто не принимают, тех, кто еще остался, выгнали, какие же могут быть фильмы...” И когда я, преодолевая дешевое самодовольство, попытался было восстановить справедливость, он остудил мое бескорыстное рвение. „Да, что ты, — сказал он, — ты меня не понял. Не в том дело, что евреи талантливее, а в том, что предвзятость и нетерпимость исключают творческую обстановку”.

Разговоры разговорами, а работать приходится. Мы уходим домой никогда не раньше шести, иногда позже, иногда значительно позже. Миша ждет всегда до конца, потому что, по-первых, гостеприимство, во-вторых, он делает что-то свое, а, в-третьих, этот прибор — его диссертация, и он за него кровно пере-

живает. Это очень кстати, что мы втроем, потому что говорить ни о чем невозможно, такая усталость, только добраться. А всем вместе можно и помолчать, или только изредка перебрасываться, поскольку центр общения не на узкой оси, а где-то внутри треугольника.

Дорога освещается только окнами, мы спускаемся вниз почти в темноте, но тем ярче сияет город внизу в долине. Смена температуры довольно резкая, ветерок подгоняет, хотя дует не в спину, а в бок. Автобуса ждем на шоссе по двадцать минут, иногда нас спасает какой-нибудь поздний калымщик на „пазе”, или даже на обычном городском автобусе со случайным неуместным здесь номером и нелепыми названиями остановок, чуждыми этому району и этой трассе. Мы выходим где-то в своем районе. Миша остается, он едет дальше. Нам надо еще купить поесть, это дело, если относиться к нему всерьез, в вечернем Ереване невыполнимо. Очереди даже за хлебом, а если за свежим, то просто длинные. Знаменитый лаваш не продается нигде, его достают с переплатой по благу или у частных на базаре, но и там он тоже не всегда бывает. Наиболее распространенный хлеб — *мадиакхаш*, что-то вроде „следы от пальцев”: это невысокие круглые лепешки, по которым сверху идут борозды, быть может, действительно прочерченные пальцами. Хлеб этот хорош только очень свежий, слегка зачерствев, он становится почти несъедобным. „Э, разве теперь мадиакхаш, — вздыхает Цогик Хореновна. — Раньше был мадиакхаш — трое суток лежал и только становился еще вкуснее. А лаваш — разве это лаваш? Его же неприятно взять в руки, а кушать — просто не хочется. Ничего не делают добросовестно, всюду воруют и кое-как. Все говорят: хозяина нет. А я думаю, был бы сейчас хозяин, он бы ничего уже

не мог поделаться, потому что люди разучились быть честными... Так что зря вы купили так много хлеба, завтра он зачерствеет и надо будет выкинуть, а хлеб выкидывать — сердце болит”.

Мы пьем чай, глядим в телевизор, и начинается самое тяжкое время дня, два или три часа до сна, командировочная тоска, бессмыслица, пустота и чужбина. „Кушайте, кушайте, почему не кушаете”. Милая, добрая, чудесная женщина. Сколько можно жить в чужом доме?

— Цо-гик Хо-реновна, — начинает Олег, — что-то Норик нам не звонит, с гостиницей, видно, не получается.

— Я вижу, что вам здесь плохо. Почему хотите гостиницу? Там вас поселят с чужими людьми, туда не ходи, того не делай, здесь вам, по-моему, лучше, разве не так?

— Так-то так, безусловно лучше, но мы вас стесняем, вам неудобно.

— Оставьте, пожалуйста, какие неудобства! Я и так целый день скучаю, вы приходите, я хоть могу поговорить. Я сижу одна, *соединяю* телевизор, ну что там хорошего, одно и то же, и он говорит, а я молчу. А Олег придет, и Юра придет, другое дело, мне удовольствие.

— Ну хорошо, Цо-гик Хореновна, тогда давайте по-другому. Я, собственно, вот что хотел сказать. Нам, действительно, деваться теперь некуда, так давайте мы наши квартирные деньги...

— Что вы, что вы, какие деньги, об этом даже говорить неприлично!

— Но ведь нам все равно государство платит специально за квартиру, что ж мы их будем присваивать, они по закону — ваши.

— Ах, не шутите, что там вам платят.

— Ну, сколько бы ни было, но все же...

— Не хочу говорить, Олег, перестаньте, пожалуйста. Даже настроение стало плохое. Не хочу говорить, не надо!

Перед сном я еще звоню по одному телефону; „Его нет”, — говорят мне. Или: „Он очень занят”; „Пожалуйста, извините, он очень занят, если можно, пожалуйста, позвоните завтра”. И я с минуту после стою в оцепенении. „Что, — спрашивает Олег, — опять так же?” — „Да, вот что-то никак...” Полчаса в постели мы еще читаем, но не читаем, а разговариваем. Олег задает мне свои вопросы, и я, не имея силы отшучиваться, отвечаю серьезно, подробно и зло, и трачу вдесятеро больше энергии. О, эта видимость общей темы при полном отсутствии общих точек, нелепая и тупая досада и еще — суетный зуд просветительства, который я сам клеймил многократно, устно и письменно. „А Андрей Вознесенский? — спрашивает Олег. — А Горький? А Толстой? А Ирина Снегова?” По одной бы только остроте на каждого, но что ж если нет у меня этой остроты. И я делаю паузу, вдох и выдох, и начинаю разворачивать наступление, где ползком, где впрямую, где как попало, и грохочет, грохочет моя атомная пушка, а воробей, по которому я стреляю, ничего ему не делается, „жив-жив” чирикает. Парадом развернув моих страниц войска... „Ну, даешь! А Маяковский?” — спрашивает Олег. Я снова начинаю медленно, плавно, с азов, и чувствую, что так мне до утра не закончить, обрываю и сразу — резко, огульно, уже бездоказательно, уже неубедительно, даже для себя самого...

— Слушай, а ты часом сам не пописываешь?

Это он хорошо спросил. Молодец Олег, двадцать копеек. Я бросаю взгляд на свой чемодан и немедленно отвожу его в сторону, словно боясь, что про-

ткну обшивку и Олег увидит внутри мои рукописи, что все эти разноцветные папки обнаружатся вдруг во внезапном вырыве, как мебель внутри разбомбленной квартиры.

— Что ты, — говорю я, — с ума сошел.

— А похоже, знаешь, похоже. Как-то ты очень заинтересованно споришь. Я и подумал было...

— Ну нет, Бог миловал.

— Да! И все твои интересы — в ту сторону. И знакомые писатели у тебя. Я и подумал...

— Да нет, успокойся, никаким боком, ничего подобного. И поздно, давай-ка спать.

Так загодя, еще до наступления ночи, задолго до первого петуха, трижды отрекаюсь я от своей единственной веры...

А петух и в самом деле кричит, я слышу это сквозь сон. Просыпаюсь, но еще совершенно темно, засыпаю снова, опять просыпаюсь, еще немного, уже пора. „Да, да, — улыбается Цогик Хореновна, — петух. Прямо в городе и разводят. Одно время я тоже думала, тридцать три копейки цыпленок, и такой балкон все равно пропадает. Но потом подумала: вай, не надо мне это. Силы не те, и соседи будут ругаться. А вы кушайте, кушайте, почему не кушаете? Вы, смотрю я, мало кушаете, такой худой, это очень плохо, вот Олег — молодец, хорошо кушает. Я вам буду рассказывать, а вы кушайте, домой приедете — что такое! — скажут, не кормят там в Ереване, такие эти армяне жадные...”

И смеется, добродушно и хитровато.

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

1

Наконец мы подбираемся к культурным ценностям. Нет, мы не крадемся, мы летим на „рафике”, мне покровительственно улыбается наш новый знакомый, Володя, Владимир Дамсарович, меня обнимает за плечи наш новый друг Акоп — Алик, и я тоже обнимаю и тоже улыбаюсь, настроение праздничное, замечательное и прекрасное, немного кружится голова, я весел, возбужден, доволен и рад, потому что впереди у меня Эчмиадзин, а позади — поллитра коньячного спирта. Стремительный командировочный детектив. Выездная шайка с пулеметом в багажнике. Они разыскали нас в институте, взяли втроем, оттеснили, прижали. Они были готовы и вооружены, мы безоружны и тоже готовы. Все решилось одним верным ударом: острие щедрости и изобилия — под ложечку нищете и корысти. И вот мы с Олегом уже повержены, скручены веревками доброжелательства, в которые незаметно для глаза вплетаются жесткие стальные нити взаимовыгодных обязательств. И уже нас волокут в бандитское логово, предупредительно пятясь и уступая дорогу. Прощай, Миша, и Гео-био!

Они привели нас в свой химиконический, показали комнату, где стоял их прибор, затем мы прошли в кабинет к Камсарычу, как впоследствии его называл Олег, сели в роскошные мягкие кресла, побеседовали о том, о сем и, между прочим, установили цену. „Пятьсот”, — твердо сказал Олег. Я в испуге дернулся, но промолчал. „По рукам, —

спокойно ответил Камсарыч, — сейчас приготовят кофе”. Он не был похож на армянина, скорее на английского стряпчего. По-русски он говорил почти без акцента, я бы даже сказал, совсем без акцента, если бы не твердоватые шипящие, но и в них, если не знать заранее, трудно было угадать армянское происхождение. Зато его приятель и подчиненный Акоп оказался уж совсем уникальным, больше того — я такого в Ереване не встретил. Когда после долгого трепа с нами он кинул в сторону несколько быстрых фраз, то я подумал в первый момент, что просто не расслышал, оттого и не понял — настолько легка и чиста по-московски была его русская речь. Так нельзя говорить на неродном языке.

Между тем очаровательная молодая женщина подкатила к нам столик с джезвой и чашками. Камсарыч вынул из сейфа бутылку: „Попробуйте и угадайте, что”. Поупрашивали Олега, покачали головами, отступились и набросились на меня. Пилось прекрасно. Закуски не было. На рюмку слегка разведенного спирта — глоток кофе, под конец — символическое прикосновение губами к зернистой холодной гуще, медленно сползающей по стенке чашки. „Где были, что видели? — спросил Камсарыч. — Нигде? О, значит, вам повезло. Через десять минут освободится наш „рафик”, отвезем вас в Эчмиадзин. Если вы, конечно, не возражаете...”

И вот мы уже катим по городу, хорошо Олегу, но и мне ничего, мне пока даже лучше, а там посмотрим. „Завод Орджоникидзе, — показывает Камсарыч, — театр Сундукяна, церковь Саркиса, Ровданское ущелье, новый стадион. А вот — повернитесь, взгляните налево — сегодня специально для вас хорошо виден *Масис*, по которому тоскуют армяне. *Сис* хоть и виден, но в облаках. Это, собственно,

сам Арарат, а вот впереди — трест его имени”. Конь-
ячная тюрьма проплывает мимо, и мы выскакиваем
на шоссе, по которому ехали из аэропорта. „Юра,
ты должен пойти в галерею! — убеждает меня
Акоп. — Я уже не говорю об армянах, современных
и старых и зарубежных, но Ботичелли, но Фраго-
нар”. Я обещаю пойти немедленно. Вопрос о моей
национальности выяснен, уже сказаны какие-то де-
журные фразы, но Акоп долго жил в России и, ви-
димо, хорошо усвоил стыдность и неловкость ев-
рейской темы, тот назойливый вид, который она
принимает даже в самых незначительных порциях.
Поэтому разговор идет об армянах. Древняя куль-
тура, христианство, письменность. Непременные
слова произнесены, теперь я начинаю выскребы-
вать из памяти все фамилии на „ян” или „янц”,
какие в ней только могли сохраниться. Я люблю
армян, я обожаю все армянское, я столько слышал,
столько читал (ничего я не слышал и нигде не чи-
тал). Я буксую и пытаюсь восполнить пробелы
эпитетами и превосходными степенями. Акоп
соглашается и дополняет. И вдруг, почти подряд,
два камушка, два порожка подбрасывают меня в
этом плавном потоке. Я проскакиваю дальше, но
возвращаюсь и ухватываюсь за них с нетрезвой
цепкостью.

— Айвазовский, — говорю я, — плохой художник,
и, по-моему, им гордиться не следует. А Вильям Са-
роян — американский писатель, не имеет значения,
что армянин.

Мне показалось, что заглох мотор, — такая пол-
нейшая образовалась пауза. Смягчить бы, сгладить,
перевести. Но я непреклонен и не-сги-баем. Ис-тина
превыше всего. Сейчас я им все объясню и они со-
гласятся. Буквализм, натурализм, литература в жи-
вописи. Я привожу слова Леонида Лиходеева, кото-

рые слышал от него когда-то в юности. Буквализм, натурализм, литература в живописи. В долгие зимние вечера, когда потеряно лото, хорошо рассматривать всей семьей такие картинки. „Не ждали”. Пришел — где был? Или те, что контр-адмирал пописывали. „Девятый вал”. Спасутся — не спасутся? И еще вспоминаю рассказ Чехова об обеде в Феодосии, как Айвазовский посадил его рядом с собой, спросил: „Вы, кажется, пишете книги? А я вот никогда книг не читаю. Зачем? Я и так по всякому вопросу имею собственное мнение...”

У меня уже не хватает ясности взгляда, чтобы оценить, кто как молчит. Но молчат все, это мне ясно. И вдруг совершенно неожиданно вступает шофер.

— Ни-кагда не слыхал, — говорит он, — ни-кагда! что Айвазовский — плохой художник! Ни-кто! мне такого ни-гаварил!

Я смотрю на него и глазам не верю: он сидит лицом к нам, спиной к рулю, разговаривает и оживленно жестикулирует. Ну, сейчас мы врежемся! Но мы не врежемся. Мы давно стоим, мы уже приехали, и мотор заглушен, так все и есть. Я еще бормочу по инерции: „Ну, зачем он вам, Айвазовский, когда у вас есть Сарьян...”, но разговор уже, как видно, закончен. Камсарыч встает, и Акоп встает. И вдруг Акоп садится обратно.

— Еще минутку, Володя.

И уже обращаясь только ко мне:

— Ладно, оставим живопись (я так и не узнаю, согласен он со мной или нет). Оставим живопись и все, что касается вкуса. Но скажи мне, почему Сароян — не армянский писатель?

— Потому что — американский, — говорю я ему. — Потому что он пишет по-английски, а не по-армянски. Это факт американской литературы и

английской языковой культуры. Язык определяет принадлежность писателя, и только язык. Джозеф Конрад говорил по-английски с акцентом, и все же он — английский писатель, а не польский. И Кафка — немецкий писатель, а не чешский и не еврейский. И даже Мандельштам, никогда не замалчивавший своего происхождения, наоборот, с гордостью его объявлявший, был, тем не менее, русским поэтом, и только русским. Можно говорить о вкладе нации в ту или иную культуру, но отечество для писателя — его язык.

— Что ж, может быть, — говорит Акоп. — Может быть, у других это так. Сомневаюсь, но может быть. У других. У армян — иначе. „Где бы ты ни был, кричи: я армянин!“ Знаешь такой рассказ у Сарояна?

Я не читал такого рассказа и вообще, по секрету сказать, не читал Сарояна (прочел уже потом, по прибытии), но название кажется мне потрясающим.

— Здрóрово, — говорю я, — ничего не скажешь, здóрово, ладно, кто его знает, возможно, ты прав...

И тут же, примерив на свой аршин, дважды наполнив это название иным содержанием, я испытываю острую зависть к армянам. *Где бы ты ни был, кричи: я армянин!* Прекрасно. Гордо, мужественно, трогательно. *Где бы ты ни был, кричи: я русский!* Глупо. Русский так русский, чего орать-то. Глупо и подозрительно. *Где бы ты ни был, кричи: я еврей!* Смешно, пародийно, анекдотично. Да и кто это станет кричать, какой идиот...

Ничего мы не выяснили, но остались друзьями. Мы выходим на улицу почти в обнимку. Олег и Камсарыч за нами. Акоп — уроженец Эчмиадзина, и пока мы идем по аллее к храму, он рассказывает, как вот по этим дорожкам в детстве катался

на велосипеде. Я намеренно не вслушиваюсь в его слова, я пытаюсь настроиться на нечто возвышенное: раннее христианство, четвертый век, католикос, святые таинства... И упираюсь глазами в очередную щит-транспарант. Гады, мало что по-армянски, так еще специально для меня по-русски! И теперь долго остается во рту тупая тошнота привычных и бессмысленных словосочетаний.

„Ах, Россия-матушка, крепка твоя лапушка. Бьет ли, ласкает, а все она тут, все с нами!”

Только Пушкиным и разгонять эту нечисть...

Кружева ограды и выставленных вдоль нее хачкаров. Мы входим в ворота, башенки храма маячат вдали сквозь зелень... Не помню, что... Ничего не помню, что было дальше. Только зрительные-растительные ощущения. Только двухцветные, зеленые — зелень и кофейные — камень. И над всем этим — башенки, башенки, башенки, много башенок, целых три штуки.. Бутылок, я думаю, было две, и Камсарыч почти не пил, а мне без конца подливал, вот оно что... И последние свои слова, которые я еще помню, произнесенные уже без мысли и воли. О храме: какое гармоничное здание, но две боковые башенки лишние, я бы их снял. „Молодец! — говорит Акоп. — Если раньше не знал — молодец! Боковые башенки лишние, поздняя пристройка, тринадцатый век”.

На обратном пути я помню коробку. Огромную плоскую картонную коробку, как два сложенных противня. Откуда-то из зелени, из глубины парка принесли ее Акоп и Камсарыч и, усевшись в машине рядом, положили ее себе на колени. Потом я увидел ее уже в помещении, в чистом прохладном зале со стульями-бочонками вдоль длинного стола, с застекленными стендами, в которых темнели колбы с вином. Этикетки с паспортными данными вин были

то ли приклеены на каждую колбу, то ли прислонены к ней, уже не помню. Коробка стояла на столе раскрытая, там, в лавашной скатерти, на подстилке из зелени, бугрились и поблескивали еще не остывшие длинные кебабы. Женщина в белом халате внесла поднос. Тоже — колбы и этикетки. Уж наверно, они были наклеены. Пили и ели и говорили тосты, и я позорно спал на своих ладонях, и никто не сделал мне замечания. Потом мы как-то оттуда выбрались, передавая друг другу слово „дегустация”, в тот момент сонное и тошноватое. Но и это было еще не все. Мы еще заезжали в Звартноц, там смотрели рисунок прекрасного храма и видели разнообразные камни, из которых он будто бы состоял. Все камни, вне зависимости от формы, размеров и былой высоты положения, лежали на площадке на одном уровне, под огромным, уже темневшим небом, лишенные всякого волевого импульса, бессильно подчинившиеся энтропии. „Иллюстрация всеобщего равенства”, — сказал я Олегу (за четкость сказанного не ручаюсь, но подумал довольно ясно, это я помню, благо мысль была готовая).

Нас подвезли, спасибо, к самому дому, мы с Олегом обнимались и трясли руки, и потом я спал на кровати, не раздеваясь, а часов в десять, умывшись холодной водой, уже набирал заученный номер.

— Знаете, что, — сказал я на этот раз, — больше я ему звонить не буду. Я привез ему книги от его друга и мог бы их просто передать, занести. Но если он захочет, пусть позвонит, запишите, пожалуйста.

— Ну что, — спрашивает Олег, — опять как всегда?

— Надо ли, — говорю я, — занятой человек. И не надо, мне что, только книги отдать...

Потом мы пьем чай у Цогик Хореновны, смотрим телевизор, и — с большим интересом, чего никогда

не бывало. Молодой артист, очень музыкальный, поет без сопровождения народные песни. Не могу описать, как это прекрасно, как гармонично слиты голос, язык и мелодия. Добрейшая наша хозяйка порывается перевести слова, но я говорю: „Не надо, я все понимаю”. — „Так быстро научились! — смеется она. — Подумайте, вах! какой способный!”.

2

В субботу мы расстаемся с Олегом. Он идет шататься по городу, а я навещаю родственников.

Да, вот так, ереванских родственников. У меня, чтоб вы знали, здесь живет троюродный брат Володя и имеется телефон его тещи, я звоню с утра — а он уже там. С женой и дочкой. Никаких „на днях”, надо ехать немедленно. Это рядом, две остановки. Он встречает меня у трамвая, усатый и черный, как армянин, с живой очаровательной куколкой на руках, уже безусловной армянкой. Он рад, я тоже, он добрый человек, мы давно не виделись. А главное, я чувствую с первых же слов, что у меня появляется объективный источник, наш человек в Ереване.

Но сначала спрашивает, конечно, он.

— Ну что ж, — говорю я, — по-моему, город — не блеск. Серенький среднесоветский город, изо всех сил прущий в столицы. Отсюда этот пышный провинциальный замах, такая назойливая монументальность среди вони, трущоб и всеобщей незавершенности. И вот, с одной стороны, официоз, выходишь, допустим, на площадь Ленина — и хочется предъявить документы. С другой стороны, тут же через две улочки — самодельные жилые сараи, занавешенные какими-то тряпками, и рядом — общественная уборная, к которой на выстрел не подойдешь. А

еще дальше, в пяти минутах, открывается вдруг такой модерн, такой вызывающе смелый поиск, что просто поражаешься, как разрешили. И порой, сознаюсь, бываешь солидарен с теми, кто мог бы не разрешить, и даже сетуешь: что же они прошляпили! Потому что выполнено все очень небрежно, и с фоном совершенно не сочетается, и от замысла остается один лишь вызов и все тот же провинциальный замах. Но это внешняя сторона, и она ничего отражать не может, кроме обычной нашей безалаберности и чиновных склок наверху. К собирательному понятию „армяне” это, как я понимаю, не имеет отношения. Армяне же мне безусловно нравятся. Что значит „все”, „не все”? Первая оторопь всеобщей приязни у меня уже, по-моему, прошла, я уже вполне различаю отдельные лица. И, конечно, масса — она всегда масса, чернь — она и в Африке чернь. Но что мне здесь импонирует бесконечно — это то, что стержень природного благородства я чувствую если не в каждом, то очень во многих, а если слегка отодвинуться, то и во всех. Не в каждом, нет, — но во всех вместе. Мне приятно общаться с армянами, мне удобно жить среди них, я ощущаю какую-то непривычную свободу, будто и вправду уехал в другую страну, и это не только потому, что — язык, естественное отчуждение и невмешательство, но и по многим другим причинам. Здесь и дух свободного предпринимательства, осеняющий в Армении любую деятельность; и очевидная чуждость, неуместность, навязанность всех наших рабских форм, уже ставших русскими, хотим мы того или нет; и некий несомненно возвышающий импульс, который сообщен мне с первого дня, и это не за счет унижения окружающих, а, наоборот, за счет всеобщей энергии, дающей чувство приподнятости и возможности. И общий тон

доброжелательства — несомненен, и если ты скажешь, что это невыгодно, то ты ни на йоту не изменишь моего отношения. Быть добрым вообще в конечном счете выгодно, тем не менее не все это хотят понимать. Ну и еще один небескорыстный вывод, одно очень важное для меня подтверждение. Населения здесь меньше трех миллионов, остальные армяне рассеяны по белу свету. И вот у этого крохотного народа, зажатого границами и горами, есть *все*, чем должна обладать нация. И те армяне, что сюда приезжают на время и насовсем, и те, что никогда здесь не были и не будут, те, что знают армянский, и те, что не знают, — все они чувствуют себя армянами и как бы подданными этой страны. Улавливаешь параллель? И скажи им, что впереди у них — ассимиляция, растворение в другой великой культуре, что они, как легирующая присадка, и в этом их историческая миссия, скажи все это любому из них — и он тебе плюнет в глаза, и мало, он тебя убьет, зарежет, будь он хоть тишайший интеллигент. И правильно сделает, молодец! Я люблю армян, я благодарен армянам, я пью за армян, пусть они будут здоровы и счастливы, мне это очень важно...

Этот спич я произношу, конечно, не на улице, а уже за рюмкой в тещином доме. Мы с трудом отваливаемся от стола и идем на балкон — подышать, покурить: мой братец Володя, жена его Аня, кукольная дочка и я. Внизу под нами — путаница деревянных заборов, домов и сараев. Оттуда гремит восточная музыка, такая мне вдруг чужая, что даже страшно, и валит дым — не густой, но постоянный. Музыка прерывается время от времени, тогда становится слышен многоголосый гогот и гвалт, он тоже смолкает и как бы суживается в один напряженный мужской голос, усиленный мегафоном.

Внезапно раздается сухой щелчок и зеленая ракета взлетает в небо. Почти мгновенная тишина, и как раз на перегибе светящейся траектории — снова гогот, гвалт и музыка. „Свадьба, — объясняет мне Аня. — Азербайджанская свадьба. А дым — от мангала, жарят шашлык...”

— Да, ты прав, — говорит мне Володя, мой брат, полурусский, полуеврей, женатый на армянке и живущий в Ереване. — Ты прав, эта страна замечательная. Но сколько я здесь живу, с первого дня, ну не с первого дня, с первого месяца, одна у меня мечта — уехать. Куда? Куда угодно, в любую дыру — но только в Россию!

Мы возвращаемся в комнату. Радушная теща. Разговорчивый тесть. Бывший полковник, ныне доблестно командующий пекарней. Тосты. Обманчивый импульс близости. Полковник общителен и скептичен. Раньше — да! А теперь — тьф-фу! Оказывается, раньше — это в войну и немного после. Сталин был армянином, вот оно что! Мать его была армянкой, точно известно. А отец — грузин, но тоже как будто не очень. Еще надо выяснить...

Тоска, Господи, вот ведь тоска! Нет противоядия против рабства, оно само отравляет любую чистоту и впитывает любую, даже чуждую грязь. Уж казалось бы, вот вам единственный случай, где межнациональная вражда черни могла бы сыграть положительную роль. Хоть одна ненависть была бы оправдана. Так нет, здесь она как раз отключается, находит немыслимую лазейку. Еще странно, как это у нас в России ему не придумали какой-нибудь псковской матери. Ничего, и так проглотили. Вот на рынке улыбчивый грузинский парень, никому в жизни не сделавший зла, хочешь — купи, не хочешь, — не надо, пусть тебя твой магазин обеспе-

чивает... Вот об этом выскажут все, что надо. Черномазый, черножопый спекулянт, живодер. А т о т живодер — не черномазый, очистился...

— Ладно, — говорю я, — будьте здоровы. Армянин так армянин, я вас поздравляю. Мне пора, пойдешь проводишь, Володя.

3

А назавтра мы гуляем с Володей по городу и заходим в музей современной живописи. Очень интересно, да что там — поразительно. Как у них только позволяют такое. У нас бы эти авторы и не мечтали выставиться, разве что под вывеской „свиноводство”, при скандальном стечении алчущих толп, иностранных репортеров и стукачей.

— Армения ближе к Западу, — объясняет Володя. — Постоянное движение в обе стороны. Приезжают родственники, уезжают родственники. *Ахпары* — армянские братья *оттуда* — жертвуют деньги и свои произведения, ты еще увидишь в Центральном музее. Ахпары, осевшие в Ереване, приехали тоже не с пустыми руками, привезли и деньги и западный образ жизни. Армения в этом смысле — страна уникальная, то есть она уникальна и в этом смысле. С одной стороны, древность и восточные корни, с другой — интеллектуальная близость к Западу, более спокойное его восприятие, чем, скажем, в России или даже в Прибалтике.

Я пользуюсь случаем, чтобы поймать его на слове.

— Значит, все же нравится тебе Армения.

— Что значит нравится, — говорит он, — чудак! Если бы я отсюда уехал, я бы каждый отпуск проводил в Ереване и весь год ждал бы этого отпуска. У

меня здесь не только привычка, у меня здесь — друзья. Но вот я иду по улице и вдруг слышу чистую русскую речь — и весь холодею. Мне хочется кинуться к этому типу на шею, обнять, расцеловать его русские щеки и облить слезами его русский пиджак.

— Ну, пиджак-то окажется точно не русским...

Но это я болтаю так, по инерции, а сам думаю: вот оно как! А как же, если насовсем, безвозвратно? Разве только в этом „безвозвратно” и выход? **В о з м о ж н о с т ь** делает жизнь невозможной, а так — жил бы себе и жил... Это здесь, а там — все наоборот. Там, я думаю, именно возможность возврата была бы отдушиной и лазейкой, мог бы жить хоть двадцать лет, дыша в эту дырочку...

Мы выходим на светлую, яркую, жаркую улицу, проходим мимо крытого рынка (в Ереване все рынки — крытые), мы проходим мимо, потому что денег — в обрез, и хотя маячит уже впереди наша с Олегом халтура, а все же кто ее знает, еще поглядим... В крохотном, но уютном кафе, втиснувшемся между двумя домами, выпиваем по чашке прекрасного кофе, сидим, болтаем.

— И еще, — говорит мне Володя, — работа. Я устал от этих восточных темпов, от безалаберности, необязательности и больше всего — от собственного безделья. Я сижу в своем КБ, читаю книжку, рисую карикатуры для стенгазеты, изредка подправляю чей-нибудь старый чертеж, слушаю и не слушаю разговоры, улавливаю какие-то обрывки смысла, вставляю свои русские пару слов, в основном о футболе, то и дело выхожу в коридор и курю, курю без конца...

— Ну, ты даешь, — говорю я ему, — да в любом московском КБ такая же точно картина, разумеется, за исключением языка. Это не армянский и не

русский стиль, это наш всеобщий, сто раз обсужденный. И у себя в Донецке, вспомни, ты наверняка проклинал ту же самую безалаберность, только называл ее русской ленью.

— Да, — отвечает он, — все так и все же не так. Там бывали периоды настоящей работы, когда не хотелось идти обедать, когда я сидел вечерами и готов был остаться на ночь. А здесь о таком нелепо и думать. Зайдешь в цех: половина станков разобрана, половина еще не собрана. Рабочие сидят на станинах, курят. Если увидишь, что кто-то работает, не обольщайся: это для дома, для семьи. Однажды директор поручил мне собрать новый станок, и я, по наивности, принял это всерьез. Надо мной смеялись. Рабочие, которых мне подчинили, делали вид, что не понимают по-русски. Только изредка, когда я брался за что-нибудь тяжелое, мне из жалости помогали. В конце концов, я этот станок собрал, и уже год на нем никто не работает. А время идет, мне тридцать лет и я теряю квалификацию...

Да, думаю я, вот тебе раз. Безалаберность, легкость, необязательность — ведь это и юмор, и теплота. И для дома, для семьи — это тоже прекрасно. „Для сельского хозяйства”, — говорят в Москве в почтовых ящиках. Придешь в цех, попросишь: вот такую релюшку. Тебя спрашивают: для работы? Для сельского хозяйства? Если для работы — ни в жисть не дадут. А для „сельского” — не пожалеют никакого времени, перероют ящики, позвонят приятелю. Холодно, неуютно искать для работы, для какого-то отвлеченного результата, для абстрактной пользы, для неведомого начальства, для его прозрачного отчета. А для дома — это же удовольствие, это так понятно. Человек соберет себе фотореле, будет фотографии дочки печатать... Я люблю

русскую лень и мне импонирует армянская безалаберность. Это — творческая лень народа и человека, который вынужден заниматься не тем, не там и не так, как ему это свойственно от природы. Беспорядок — это еще не беда, порядок — вот подлинное несчастье. Дисциплина, порядок, строй и прочие гражданские и военные радости...

Но как быть человеку, если его дело зависит от этих самых вещей? Он уже выбрал давно и он не может иначе.

— Ладно, — говорю я, — что тут поделывать, наверно, такие мы все обреченные. Нам надо жить у себя дома, уж какой он ни есть, этот дом. Давай меняйся, возвращайся домой, а сюда будешь ездить в гости, меня прихватывать...

Мы идем вдоль длинного деревянного забора, такого неуместного в этом каменном городе, да еще на этой центральной улице. И вдруг — вывеска на калитке: „Музей истории города”. Зайдем? Зайдем. Мы толкаем калитку, спускаемся вниз, в затененный дворик, — и оказываемся в том единственном месте, которое я искал в Ереване! Не то чтобы я больше не хотел ничего видеть здесь, но это было единственное место, которое я искал *з а в е д о м о*, и не из уважения к чужой святыне, а для поклонения своей собственной.

Мы стоим во дворике храма, но не церкви и не синагоги. Это двор ереванской мечети. Самая мечеть — в глубине двора, странно, что мы не заметили с улицы ее лунно-звездчатых куполов. Главное здание и какие-то пристройки расходятся буквой „П” вдоль забора, блестя глазированной плиткой с преобладанием голубого цвета, и расписаны хвостатыми письменами, синими, в один перьевой росчерк, с одинаковым радиусом завитков, но с

возрастающей высотой, если слева направо. Писали, конечно, справа налево, но сразу так не воспримешь.

— Какая удача! — говорю я Володе. — Так просто: шли, толкнули калитку — и вот она, эта мечеть. Та самая!

4

Я знаю, что не только для меня, для многих в России Армению открыл Мандельштам. Сначала стихами, затем „Путешествием“, а затем уже, по порядку чтения, так часто обратному написанию, — „Четвертой прозой“. Но, конечно, не Армению он открыл, а тягу к Армении, любовь к Армении, странную близость этой азиатской страны тоскующему европейскому сердцу.

„Если бы я поехал в Эривань, три дня и три ночи я бы сходил на станциях в большие буфеты и ел бутерброды с черной икрой.

Халды-балды!

Я бы читал по дороге самую лучшую книгу Зошенко и я бы радовался как татарин, укравший сто рублей“.

Это было написано им в счастливое время, насколько мы можем теперь судить. Ему еще оставалось несколько лет свободы! Не какой-нибудь заграничной, не имеющей цены, как вода и воздух, а нашей, бесценной, как вода и воздух, как один вдох и один глоток. Он еще съездил в свою Эривань, и хотя насчет черной икры сомнительно, но жизни и свободы вдохнул здесь в полную меру. С армянских стихов начался совершенно новый период его жизни — после долгого удушья и немоты, гениальный взлет без единого спада до самой гибели.

ли. Одного этого мне достаточно, чтобы любить Армению. Но и прозаическое „Путешествие в Армению” я готов перечитывать без конца, и хотя не в моих интересах цитировать, но один кусок я сейчас приведу. В нем мне важен не стиль Мандельштама, не точность его наблюдений и даже, честно скажу, не Армения, то есть на этот раз не прямо она. Мне важен один персонаж.

„В этом году правление Центросоюза обратилось в московский университет с просьбой рекомендовать им человека для посылки в Эривань. Имелось в виду наблюдение за выходом кошенили — мало кому известной насекомой твари. Из кошенили получается отличная карминная краска, если ее высушить и растереть в порошок”.

Терпение, дело не в кошенили, хотя, как увидим, отчасти и в ней.

„Выбор университета остановился на А.Б. Зотове, хорошо образованном молодом зоологе. (...) А.Б. ни в коем случае не был книжным червем. Наукой он занимался на ходу, имел какое-то прикосновение к саламандрам венского самоубийцы-профессора Каммера, и пуще всего на свете любил музыку Баха, особенно одну инвенцию, исполняемую на духовых инструментах и взвывающуюся кверху, как готический фейерверк. Зотов был...”

Здесь следует пара абзацев о Зотове, затем фантазия и вариации о цветах, ягодах и грибах, и вдруг поразительная, брошенная между прочим фраза: „Разлука — младшая сестра смерти”... и еще вдруг:

„— Итак, А.Б., вы уезжаете первым. Обстоятельства еще не позволяют мне следовать за вами. Я надеюсь, они изменятся”.

Что это значит?

Нет, ясно уже, что этот А.Б. — человек замечательный. И все же — что за разлука? и зачем Мандельштаму за ним следовать?

И тут я обращаюсь к другому тексту, уже совсем сухому и протокольному:

„Стремясь сократить ввоз импортных продуктов, пищевое ведомство в 1929 году обратилось в Московский университет с запросом о возможности замены мексиканской кошенили каким-либо отечественным источником кармина. Ответить на этот запрос поручили, как энтомологу, мне”.

Ну вот, без кошенили не обойтись. Именно из-за этой красной козявки одновременно с Мандельштамом попал в Ереван Борис Сергеевич Кузин, он же загадочный А.Б. Зотов — энтомолог, историк науки и не просто любитель, но прекрасный знаток и толкователь Баха, и вообще — удивительный человек. Он не только познакомился здесь с Мандельштамом, он отныне стал его другом и, по-видимому, самым близким. Пресловутая кошениль явилась перекрестьем и общей точкой рассказа Мандельштама о Кузине и более поздних воспоминаниях Кузина о Мандельштаме.

Кузин умер года четыре назад. Это был человек безусловно умный, широко образованный даже по тем завышенным и оттого устаревшим меркам, но главное отличительное его качество — это редкая нравственная чистота, пронесенная им через все перипетии вполне современной запутанной жизни, включая, конечно, аресты и лагеря, которых он попробовал еще прежде Мандельштама. Какая-то поминутная совесть, почти детская, до наивности, прямота стоят за каждой им написанной фразой, создавая особый внелитературный стиль, вызывая чувства простые и добрые.

Кузин приехал в Эривань в командировку, так же, допустим, как мы с Олегом, но столь необходимая ему кошениль, обитавшая где-то в армян-

ских долинах, еще не вышла из земли на поверхность, надо было ждать. К тому же он только что перенес тиф и медленно восстанавливал силы. Он бродил по городу в поисках горячего чая и тихого места для отдыха — и нашел то и другое, случайно толкнув калитку и оказавшись неожиданно, как и мы с Володей, во дворике эриванской мечети. Он пишет об этом со свойственной ему обстоятельностью:

„Я вошел во двор мечети и просто остолбенел. По соседству с самой непривлекательной частью города находился рай. Двор, выложенный каменными плитами, со всех сторон обсажен мощными вязами, создававшими защиту от пыли окружающих улиц и, как казалось, даже от шума. Из-за деревьев проглядывали стены мечети и относящихся к ней построек. Посреди дворика находился небольшой прямоугольной формы бассейн с двумя фонтанчиками. В нем плавали две белые утки. Бассейн тоже был обсажен с двух сторон развесистыми карагачами, между которыми стояли массивные, вытесанные из камня скамьи. Под одним из деревьев помещался стол, а на нем — огромный желтой меди самовар и арсенал чайной посуды. Несколько тюрков, большей частью пожилых, сидели на скамьях, одни — молча, другие — негромко переговариваясь между собой. Чайчи, тоже немолодой, бесшумно и неторопливо разносил и убирал стаканы. Я присел на одной из скамей. Подошел чайчи и спросил: „Чай?“ — „Да“. — „Сладкий?“ — „Нет“. Чай был, как всегда в чайханах, хорошо заварен и горячий“.

Кузин стал проводить здесь все дни подряд, и сюда же, в этот сказочный дворик, однажды забрел Мандельштам. В их знакомстве примечательна одна деталь. Кузин, вообще-то страстный читатель, предвидя сложности путешествия, взял с собой из Москвы только две книги, надеясь, как он сам говорит, „возместить количество качеством“.

„Шел уже второй год, как мне вполне раскрылась поэзия

Мандельштама... „Тристан” ударила меня всей своей силой в ту пору, когда я не мог ее не почувствовать... Небольшую книжечку в красной обложке я и решил взять с собой в долгое путешествие. Другая была один из сборников Пастернака”.

И вот по странному совпадению — такое было завихрение судьбы — пропустив мимо ушей фамилию нового своего знакомого, Кузин заговорил с ним о Пастернаке, опять же в связи с кошенилью.

„Я сказал, что о ней упоминает Пастернак и, как видно, грамотно. Я имел в виду:

И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня не зависим,
Нет, не я вам печаль причинил.

В ответ было: „Да Борис Леонидович всегда грамотен в своих стихах”.

Тут во мне как бы сработал спусковой механизм... Я ничего не анализировал, ни секунды не колебался. Вскочил и закричал: „Да ведь я же вас знаю!”

Но, видимо, и для самого Мандельштама эта встреча явилась озарением и знаком, и многое изменила в оставшейся жизни.

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был как выстрелом разбужен.

Эти стихи посвящены Кузину, и строчки их, написанные в Москве, тянутся во двор эриванской мечети, той самой, где сейчас стояли мы с Володей.

— Странно, — говорит Володя, — никогда здесь не был. Приятный двор, но какой-то заброшенный. Мечеть не действует, это ясно. Но, кажется, и музей не работает.

Дворик, действительно, захламлен и пылен, тени практически нет никакой, это в первый момент она мне почудилась, видимо, из-за спуска как бы в под-

вал. Несколько полузасохших деревьев, тех самых, возможно, карагачей, растут — не растут, трудно сказать, но стоят вокруг бывшего бассейна. Все как будто узнаваемо, но умозрительно, только по названиям.

— Вот здесь, — говорю я Володе, — плавали утки, — и показываю на прямоугольную мусорную яму. — А на месте этих лопат и досок, видимо, стояли столы с самоваром.

Мы обходим двор по периметру, идем вдоль длинных низких палат, составляющих ансамбль с главным зданием, — и на всех дверях видим замки. Наконец, на той стороне отмечаем одну открытую дверь и кидаемся к ней, торопясь, словно опасаясь, что и она закроется. Маленькая квадратная комнатка, с письменным столом, заваленным бумагами и папками. Бритый старик в серых простых, пижамного типа штанах и такой же куртке сидит за столом и пишет. Он поднимает на нас глаза мудреца и учителя, здоровается и любезно предлагает сесть. Да, он понимает, хотим посмотреть. Из Москвы? — тем более очень досадно. К сожалению, все закрыто, все экспонаты и даже ключи теперь не у него. Хотя он — почти единственный из оставшихся сотрудников. Впрочем, он думает, что и ему не долго осталось. Вчера приезжал инструктор горкома, сказал: „Не понимаю, что вы здесь делаете. Все пишете, пишете целыми днями. Разве это работа?“ Но он — не о себе, дело не в нем. Музей полгода уже закрыт, это называется: „в новое помещение“. Но нового помещения нет и в проекте. И уже несколько лет, как здесь необходим срочный ремонт, бесценные экспонаты, которым сотни и сотни лет, в течение года приходят в негодность от сырости. Гниют ткани, истлевают золотое шитье. А это, вы понимаете, невозстановимо. И это — главное наше

богатство, большего у нас в Армении нет. Был такой русский философ Федоров, вы вряд ли его читали... Он говорил, что музей — не конец, а начало, начало истории всего народа как целостной и неразрывной семьи, где совместно трудятся живые и мертвые. Я сидел здесь зимой, вот в этой комнатке, было сыро и холодно, я болел и я думал, что согласен выйти на улицу и просидеть там под дождем и ветром, пока не умру, чтобы только музей поместили в сухое и теплое место. Но никто мне такого не предложил.

И вдруг я решаюсь:

— А знаете, в этом дворике...

— Кузин? — переспрашивает он. — Нет, не знаю. Ах, которому посвящено... Таак, и что же? Зотов. Помню, конечно, помню. Энтомолог, кошениль, теория Гурвича. У Мандельштама о нем довольно много. Так, значит, Борис Сергеевич Кузин. И в этом дворике. Нет, не сомневайтесь, другой мечети в Ереване нет. Чайхана, говорят, была, но я не застал, я до войны работал в Тбилиси. Очень, очень интересно, да. Жаль, что я не знал об этом прежде, я бы видел здесь все чуть-чуть по-иному. Ну, да теперь уже все равно... Да, верно, были карагачи. Здесь, знаете, росли еще столетние чинары, и они засохли на моих глазах, вдруг, сами собой, уж не знаю отчего, быть может, просто кончилось их время...

Он грустно улыбается и трясет головой. Мы выражаем робкую надежду на лучшее, мы благодарим его и прощаемся.

— Был, — говорю я, — такой поэт Мандельштам. — И на его недоверчивый взгляд: — Гениальный поэт. — И на его усмешку: — Самый большой поэт двадцатого века! Ну, неважно, поэт и все! Он написал об Армении. Хорошо написал. У него был друг, интересный человек, он недавно умер. ...А? — я вздрагиваю. — Есенин? Ну что Есенин? Прекрасно отношусь, какой разговор. Между ними, если хочешь, было что-то общее. Быть может, органичность, предельная выраженность. Мандельштам это чувствовал, вероятно. Он лучше всех сказал о Есенине. „Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиние ночи...”

— Это ты наизусть запомнил? — спрашивает Олег. — Ну и память. Завидую. Раньше я тоже так мог. Прочту разок стихотворение и тут же, — почти без запинки. А теперь уже не то, старость, склероз. Образ жизни у нас дурацкий. Надо больше воздуха, больше фруктов, наша пища совершенно лишена витаминов...

Я снимаю со спинки стула полотенце, вешаю его себе на шею, беру со стола огромное яблоко и сую его в руки Олегу.

— На, — говорю я ему, — восполняй! — И иду принимать душ.

Вода в титане почти совершенно остыла, Цогик Хореновна грела его еще днем. Я прыгаю под прохладными редковатыми струйками, вяло смывающими с тела сухой мыльный рисунок, и даю себе слово никогда больше, ни разу в жизни... в который раз!

И звонит телефон.

Нашей хозяйки сегодня нет, она в гостях у детей. Видимо, Олег вспоминает об этом не сразу, он выходит из комнаты и снимает трубку только после трех-четырёх безответных звонков. Но Олег еще только снимает трубку, а я уже и кран закрутил, и

уже полотенце набросил на спину, и стираю, сдираю с холодной кожи капли воды с остатками мыла. Потому что я точно знаю, что это — о н .

— Кого? — переспрашивает этот болван. — Говорите громче, вас плохо слышно.

Я натягиваю трусы и выскакиваю.

Он протягивает мне трубку:

— Кажется, тебя.

Господи, кажется! А то я не знаю.

Сильный мужской голос и слышно отлично, но дело в том, что такого акцента, да что там акцента — такого нерусского языка я еще в Ереване не слышал. Я с трудом улавливаю корни слов, выкусываю лишние приставки и суффиксы, выгибаю окончания в нужную сторону — и, странно, испытываю от этого радость, как бы радость сотворчества. Я стою в трусах, опираясь локтем о стену, я рассматриваю собственные мокрые следы на полу и размеренно и ровно отвечаю в трубку, весь напрягаясь для этой ровности так, что дрожь моего еще влажного тела пулеметной очередью прорывается в паузы.

— Да, — говорю я, — конечно, я понимаю. Я вполне понимаю, вы очень заняты. Я бы не хотел растрчивать ваше время. И знаете, — говорю я ему (уж сейчас заверну!), — знаете, это не в моих интересах, мне лично как читателю просто н е в ы г о д н о отрывать вас от вашей работы.

Вот так. Знай наших. Если он так же понимает по-русски, как говорит, то, значит, я попусту растратил энергию. Эта трата сказывается немедленно, я начинаю дрожать с такой амплитудой, что, кажется, больше ни слова не вымолвлю. Но подходит сзади Олег — золотой человек! — и набрасывает мне на плечи одеяло.

— Нет, — говорю я, — конечно, свободен. Я только... В общем, буду готов через десять минут.

Он говорит мне что-то еще, и я чувствую, как начинаю привыкать к его речи, как уже воспринимаю ее непосредственно, без промежуточного перевода. И только теперь, отчасти задним числом ощущаю, как эта речь иронична, остра и легка. Легка — поверх и в обход неуклюжей тяжести чужих оборотов.

Он говорит примерно следующее: „Мы с вами живем почти на одной улице, ваша улица — продолжение моей, или, если быть армянином и хозяином, моя — продолжение вашей”. Давайте мы выйдем одновременно через десять минут и пойдем друг другу навстречу, как в школьной задаче. Я буду весь в черном, стройный, как девушка. А вы? Ах, я тоже лысый, но это секрет. Лысый и с бородой? Прекрасная характеристика. Ну что ж, договорились, до встречи”.

Я одеваюсь, киваю Олегу („Понятно, — он улыбается, — ну-ну, давай”), хватаю со столика перед зеркалом дождавшуюся стопку книг и журналов и выстреливаю вниз, в подъезд, в духоту, черноту, широту ереванской ночи. На углу я останавливаюсь. Звезды свежие, чистые, одна к одной. „Господи, — произношу я не вслух, но словами, немного стыдясь себя, но все же словами, отчетливо, — благодарю Тебя, Господи, щедрость Твоя безгранична; в который раз Ты даруешь мне больше, чем я заслужил!”

Глава пятая

ГРАНТ

1

Однажды мне позвонила приятельница из Киева и, минуя вопрос о здоровье детей, с ходу сказала так:

— Я должна тебе сообщить, что в нашей стране, в наше время живет великий писатель, и ты наверняка о нем даже не знаешь.

— Знаю, — ответил я, почти не задумываясь, и назвал ей имя.

Она разочарованно подтвердила. И хотя я тоже узнал недавно, а прочел и вовсе месяца два назад, но добавил с важностью:

— Как же, как же не знать. — И повторил окончательно и с удовольствием: — Знаю, ГРАНТ МАТЕВОСЯН!

„Нет, это невозможно”, — сказал я тогда, назад два месяца. „Вряд ли”, — сказал я, держа в руках эту книгу. Стилизованный орнамент на картонной обложке подкреплял мое недоверие. Фольклор. Представляю. Ансамбль песни и пляски. Сын уезжает в город учиться, а его девушка в это время... А старуха жалуется на жизнь: такие стали все образованные, просто не с кем поговорить. Тут же светлая грусть автора: все-таки раньше было тоже много хорошего. И совсем уже членораздельный, в полный голос экскурс в экологию: охраняйте свою среду! Жизнь между тем противоречива и даже порой трагична. Но... И даже порой без „но” — вот такая смелость. Ну и так далее. И хотя эту книгу давал мне не просто кто-нибудь, а умный человек и

большой писатель, я все равно не поверил. Он был давним другом Матевосяна, а о друге чего не скажешь хорошего.

Я помню, как пришел домой с этой книгой, как раскрыл ее и увидел горы и снова орнамент, и задумался, прежде чем начал читать. Я подумал о странной закономерности, которая впоследствии оказалась предубеждением, от которого я, впрочем, и теперь не отказываюсь: что большая литература возможна только у большого народа. Буквально большого — по численности населения, ну и, конечно, по исторической роли. Я не говорю о поэзии, она здесь не в счет. Поэзия — явление узко национальное, поскольку все переводы — фикция, в лучшем случае — сообщение о наличии, а в самом лучшем — стихи переводчика. Но проза-то безусловно переводима, что бы там ни возражали киты-полиглоты. И вот — явная такая зависимость. Уж кажется, что может быть индивидуальнее художественного творчества. И убежденный сторонник всяческого субъективизма и враг всяческой социальности, я вынужден признать и даже настаивать, что значительность художественного произведения тесно связана с общественной жизнью страны, с ее масштабом и широтой, с ее открытостью в общий мир, с тем местом, которое она занимает в общей судьбе человечества, — то есть с теми неохватно громоздкими понятиями, которых вправе чураться всякий нормальный художник.

Ведь если рассматривать только текущий момент, а всю предысторию брать как готовый итог, то, казалось бы, так: рождается гений, создает великое произведение, и поскольку он один — за все времена, то и вся слава за все времена — ему одному. На самом же деле все совершенно не так. На пустом месте не рождаются гении, для этого мало папы и

мамы, и формула „гений, рожденный народом” — верна, как бы она нам ни резала слух. И даже если мы намеренно отбросим весь неосязаемый духовный слой, связующий художника и его народ, и остановимся лишь на тех воплощениях, которые доступны нашим органам чувств, то получим, по крайней мере, два необходимых условия. Во-первых, конечно, язык, его разработанность и готовность, его соответствие стилю и духу времени. Но, во-вторых, и это не менее важно, — степень проработанности общих мест и абсолютный уровень обобщенности. Чем более значительные понятия и образы входят в тот литературный пласт, от которого отталкивается писатель, тем сильнее толчок и тем выше полет. И это не только от наличия средств выражения, не менее — от наличия средств у молчания. Возможность сказать нечто следующее немислима без возможности не говорить предыдущего. Значит, кто-то должен был сказать до тебя. И в России-то с этим как раз порядок. За двести лет литературы у нас столько и так сказано, что мы можем молчать еще двести лет и сойдем за умных. Но в Армении... Язык прекрасен, я верю, слышал, читал. Но ведь не было сколько-нибудь значительной прозы, нет трамплина, нет пласта умолчания, надо с нуля, сначала, все по порядку. И значит, как бы ни был талантлив автор, его удел — провинциализм, пересказ, перепев с национальным орнаментом. И эта поверхностность и вторичность должны особенно резать глаз в переводе.

И вот я раскрыл эту книгу и начал читать, я забыл все свои рассуждения и читал, сколько хватило сил, а утром проснулся с радостью и не сразу понял, откуда она. Но я увидел на стуле книгу и

вспомнил, что радость моя имеет имя. Она называлась ГРАНТ МАТЕВОСЯН. И я шел потом к остановке автобуса и улыбался как идиот, и все мне казалось, что портфель, где лежит эта книга, разогрет изнутри: я просто видел, как тают снежинки, падая на его поверхность. В метро после каждого перехода я протискивался вглубь, нетерпеливо, в угол, к стеклу двери, не прислоняться, открывал портфель на весу, прижимая коленом, и вытаскивал ее поскорее на свет...

Там было все, чего я так опасался: деревня в горах, и сын в институте, и старухи, и старики, и „такие все стали“, и еще много вещей так просто называемых, все там было, — и все это было прекрасно. Эта книга была с о в е р ш е н н а, вот в чем дело. В ней присутствовали все компоненты высокой прозы: стиль, ритм, точность рисунка, подлинность персонажей; наверно, композиция была и сюжет, если, начав читать любую повесть, невозможно было до конца оторваться. Но не в этих категориях хотелось о ней говорить. Любовь к людям, и любовь к животным, и любовь к жизни, и невозможность жить, любовь, люди и жизнь — может быть, так. Ни идеализации, ни стилизации, ни сгущения красок, ни разрежения; жизнь, казалось, не подверглась никакой обработке, мы получили ее из первых рук, но это были руки настоящего мастера и удивительного человека. Его юмор был ненавязчив и легок, но и не являлся, вместе с тем, оболочкой, а всегда содержался в глубине ситуации как органическое свойство жизни. Его боль была лишена патетики и, если порой и прорывалась криком, то это был крик самого страдания, а не вопли автора по поводу чьих-то страданий. И безмерная грусть, и ясная мудрость, и глубокое чувство общей судьбы — в этой книге, не содержащей авторской

речи, ни абстракции, ни обобщения, — также были свойствами жизни, людей, природы. И от этого, быть может, чувство п р и о б щ е н н о с т и , пройдя через высокий эстетический взлет, не минуя его, а неся в себе, возвращалось потом обратно в жизнь, становилось снова надеждой, радостью, любовью... Нравилась ли мне эта книга? Я любил ее, она была мне родной. Тогда в метро, притиснутый в углу, спотыкаясь о собственный неуклюжий портфель, посапывая и улыбаясь украдкой, и украдкой вытирая пальцем глаза, я так и сказал себе: родная книга.

Уже теперь, через несколько лет, намереваясь писать об Армении и о Гранте, я снова взял эту книгу в руки, но уже не с опаской, как в первый раз, а с нешуточными волнением и тревогой: мне было теперь что́ терять. И когда я прочел все повести, одну за другой неотрывно, то эта, уже третья по счету, радость была не меньшей, чем первые две. Я был счастлив тогда, в Ереване, убедившись в том, что Грант Матевосян так же прекрасен, как его книга; и я был снова счастлив теперь, в Москве, оттого, что его книга так же прекрасна, как он.

2

— Грант МатевОсян, Грант МатевОсян... Нет, — покачал головой Норик, — никогда не слышал.

— Да. Слышал. И даже. Читал, — твердо построил Тигран и поспешил перейти на другую тему.

— Прекрасный писатель! — волнуясь, сказал Акоп. Но взволновался он не по этому поводу, это было общее большое волнение, сопровождавшее, как фон, армянскую тему. Никакого эмоционального приращения не чувствовалось, а чувствова-

лось, что если отделить этот фон, то останется равнотушие и безразличие.

— Кому это вы такие эпитеты? — удивилась Сюзанна. — Ах, Матевосяну. — Уж она-то, конечно, читала. — Ну что вы, что вы... Да нет, хороший писатель. Но он не единственный, сейчас таких в Армении много.

— Знаете, что, — я тихо киплю. — Знаете что... Мне трудно спорить, я тех других не читал. Но скажу вам одно: если вы правы хотя бы отчасти, если найдется хотя бы один такого же уровня, то значит, учитывая армянскую численность, вы — самая литературная страна в мире, и даже современной России до вас далеко!

— Вы слишком добры. — Она улыбается. — Вы слишком добры...

— Да, да, — говорит *Сергей Асоян*, — то, что ты рассказываешь, очень типично. Представь себе, что во всей Армении только два или три десятка читателей понимают по-настоящему, что такое Грант...

Сергей Асоян — мой новый друг, лучшая моя находка в Армении, и если я до сих пор о нем не сказал, то только оттого, что не было повода, а повод должен был быть непременно литературный. Мы познакомились с ним в нашем Гео-био, где он ведет литературный кружок два раза в месяц по четвергам за полставки старшего лаборанта, терпеливо и многократно в течение двух часов прослушивая список популярных армянских рифм.

— Давить их надо, менээсов этих, — сказал он мне в первый же вечер. — У них ведь у гадов принцип какой. Литература есть все, что не есть наука. Но и пятьдесят рублей не валяются...

Первая и естественная здесь характеристика — „как говорит по-русски” по отношению к Сергею

неуместна и смешна. До двадцати лет он не знал почти ни одного армянского слова и ни разу не был в Армении. Жил в Ростове, учился в Москве. (Москва — не Минск, и это не повод к сближению. Но Набокова он тоже, конечно, читал...) Затем, после смерти своих обрусевших родителей, вдруг услышал голос крови, зов предков, притяжение родимой земли — и кинулся в Ереван. Но не просто приехал и начал жить, а выучил язык, воспринял историю, пророс интересами, друзьями, делами, стал армянином! Такой молодец.

Мы шатались с ним по вечернему городу, сидели за столиками на улице, пили кофе, пили шампанское (почему-то в кофейнях, кроме кофе — только шампанское), упивались этим кофе и этим шампанским, но еще более упивались общностью взглядов по всем затрагиваемым вопросам. Под конец зашли к нему и зашли ко мне, обменялись статьями о Мандельштаме — даже тут совпадение. Его была напечатана в „Литературной Армении”, моя — не скажу, где.

— Да, — говорит Сергей, — ты прав, Грант — удивительное явление. Он работает почти на пустом месте. И насчет необходимости умолчания — это я тоже с тобой согласен. Тем он и замечателен, Грант, что сумел впитать в себя русский литературный опыт, да, наверное, и не только русский, каким-то чудом пропустив его через армянский язык. И пишет он так, будто он вовсе не первый, будто была до него большая армянская проза, и не в древности, когда она действительно была, а вот теперь, сейчас, в прошлом году... А между тем и с самим языком тоже все далеко не просто. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, и трудно представить письменный оборот, который был бы неуместен в нашей

устной речи. Русский образованный человек говорит на языке, бесконечно близком к литературному, расхождения в построении фраз, тем более в словаре — незначительны. В армянском все не так. Здесь отсутствие в течение столетий большой прозы сказалось роковым образом. Литературный армянский — это язык поэзии, ею одной созданный и воспитанный. Он настолько приподнят над обыденной устной речью, что порой не совпадает с ней почти ни в одной конструкции. Вот тебе продиктовал твой Миша: *Мек сават сурч*. Но так не говорят, так только пишут. *Мек* — это литературное числительное; соответствующее ему разговорное — *ми*. Почему он так ошибся? А он не ошибся. Ты записывал, он и продиктовал тебе письменное значение. Это вышло у него само собой. Такое различие в простейших словах, что уж говорить о более сложных! И наш замечательный Грант, создавая новую армянскую прозу, совершает еще и чудовищную работу по сближению литературного и устного языков. Простым механическим переносом здесь, как ты можешь понять, не отделаешься. А как он это делает — просто чудо и тайна. Ясно одно — после него писать по-армянски будет легче. Как используют будущие армянские писатели все то, что завоеует для них Грант, это еще, конечно, вопрос, но уже сваливать им будет не на что, и, значит, можно надеяться...

3

Наш общий с Грантом приятель, московский писатель, передал мне для Гранта кипу книг и журналов — из чисто альтруистических соображений: ему это было совершенно не нужно, во всяком случае,

не к спеху. Но он знал мое к Матевосяну отношение и вот сделал мне такой подарок. Там были его собственные недавние сборники, журнал с повестью Матевосяна на английском, новая книга их друга алмаатинца, которую я успел за эти дни проглядеть, и еще что-то, уже не помню. Всю эту распознавшуюся кучу информации я то разделял на две половины и нес каждую в каждой руке, то соединял и брал под мышку под правую, но спохватывался, что ведь надо будет здороваться, и тут же, торопясь, перекладывал под левую. Я узнал его сразу — как могло быть иначе! Он двигался стремительно и направленно, хотя временами лавировал, огибая встречных; казалось, что путь его прям как луч, что лавируют только встречные, его огибая. Я заметил его шагах в двадцати — и вот уже он отделен от меня пятью, тремя, одним человеком, и вот уже никто и ничто не препятствует нашему взаимному (по законам механики) с ним притяжению.

Он усмехнулся. Я молвил: „Спасибо!“

И не нашел от волнения слов.

— Пароль! — сказал Грант Матевосян и назвал имя нашего приятеля. Я только молча улыбнулся в ответ и протянул ему свободную руку.

Он был худ, высок, но довольно широкоплеч, и хотя руку мою пожимал легко, я почувствовал в нем сухую нервную силу. Большие глаза его были слегка красноваты, как бы немного воспалены, и от этого его умный и острый взгляд приобретал еще особую пронизательность. Да и во всем его облике, с обтянутыми скулами, с высоким, накатывающим на темя лбом, чувствовалась какая-то **в о с п а л е н н о с т ь** — именно это слово первым пришло мне в голову и осталось потом как главная характеристика.

— Если вы не торопитесь, — сказал он, — идемте. — И тут же круто повернул назад, и мы сразу начали с ним торопиться.

Я не знаю, действительно мы с ним спешим или это обычная его походка. Я передаю ему журналы и книги. Он перебирает их на весу, на ходу.

— Да, да, знаете, прекрасно, видел, читал, хорошо... О! У алмаатинца уже вышла книга. Наконецто! Вам нравится?

— Нет, — говорю я, — не нравится.

— Да, верно, плохая книга, — соглашается он, не меняя интонации, так, будто хвалит. — Он наш друг, я рад за него, но книга плохая. Он — как это холодно — холоден. Он холодный писатель, а это нельзя, невозможно. Вы согласны?

Я с радостью соглашаюсь. Мы стремительно двинемся куда-то, куда он знает. В ресторан. Скорее всего. Я уже предчувствую тот навязчивый шум и свет, свою беспомощность и принужденность, с трудом разогреваемый разговор, который, когда он, наконец, разогреется, разгонится и перестанет сам себя замечать, будет прерван официантом, и все сначала... И делать вид, что тебе это все равно, тянуть и варьировать последнюю фразу, а потом напиться — и уже неважно... Но потом — эта тяжба, кто будет платить, у нас обоих, конечно, без счета, полный карман, и все это пустяк, формальность, и все-таки я, нет, все-таки я, и он скажет официанту пару слов по-армянски, тот отведет мою руку в сторону, и я улыбнусь растерянно и облегченно...

— Куда мы идем? — спрашиваю я наконец.

— Как куда? Ко мне домой, — отвечает Грант. — Это рядом, вот тут, долго идти не надо.

Мы входим в подворотню большого нового дома (строительный хлам, доски, известка, ржавое железо). „Вот видите, очень близко“. В лифте он шутит

по-русски с какой-то девушкой, мы выходим на площадку, дверь, звонок и — пожалуйста — квартира Гранта Матевосяна...

Мне очень трудно описать тот вечер, он всплывает в памяти какими-то пятнами, частями разговора, отдельными лицами, деталями, как говорят, интерьера. Но я отчетливо помню, что с начала до конца не оставляло меня ощущение радости и какого-то удобства, довольства, соответствия. Ни секунды не было мне неловко, ни на миг не почувствовал я себя чужим. Странная вещь, даже такое осталось чувство, будто все они, домашние Гранта, говорили между собой по-русски, хотя это, конечно, исключено. Его жена, красивая умная женщина, ироничная и снисходительно-мягкая, с удивительным непринужденным достоинством в каждом слове и жесте, говорила по-русски так же... как он. Но тут я проглатываю определение, потому что „плохо”, „искаженно”, „неграмотно” — все эти слова никак не подходят к речи Гранта и Важинэ. Скорее я бы сказал, что они говорят и з м е н е н н о . Какая-то стойкая надязыковая основа просвечивала сквозь эту неправильность, угадывалось тонкое лингвистическое чутье. И от этого порой казалось, что та или иная измененная фраза чуть ли не богаче исходной и чисто русской. Впрочем, дети — девочка лет на пять постарше мальчика — говорили по-русски почти без ошибок и то и дело поправляли родителей, и это как-то не выглядело назойливым.

Мы немного походили с Грантом по квартире.

— Вот, — сказал он, — видишь, только что получил. Прекрасная квартира, четыре комнаты, только мечтать, живи и радуйся, отвратительно сделана, невозможно жить. Двери и окна не закрываются, плинтуса отходят, отделка отваливается, трубы те-

кут и в стенах щели шириной с палец. Вот мой кабинет. Кажется, слава Богу, наконец-то отдельный. Но два часа посижу — и верная ангина. Пять тысяч надо на ремонт, у меня их нет...

Я подхожу к столу и, наконец, впервые вижу машинку с армянским шрифтом.

— Эта мне не нравится, — говорит Грант. — Прямой шрифт, слишком д а л е к и й . Вот как она печатает. Он показывает рукопись. — Моя новая книга. А вот другой экземпляр — это уже на машинке с наклонным шрифтом, такая мне больше подходит...

Я зачем-то долго рассматриваю ряды крючковатых значков, врассыпную, беспомощно и бессистемно, пытаюсь извлечь из них то, что они означают: *слово*. Но нет его, нет его здесь для меня! Мой здравый смысл включается с большим опозданием, чтобы сказать мне об этом.

Я хотел бы выучить армянский, будьте добры. Нет, не в следующем году, не завтра — сейчас, сию минуту. Неужели никак нельзя? Очень нужно, пожалуйста! Невозможно. Немыслимо. Что за чушь, что за нелепость! И какое унижение, какая обида — на все времена, никогда не утешиться...

— А *пишешь ты* на какой? — спрашиваю я, приходя в себя.

— Нет-нет-нет! — мотает он головой. — Только рукой, иначе я не могу. Другой ритм, другая проза. Рука должна сама...

И вдруг осекается и опускает голову.

— Ладно, что́ обо мне. Не стоит. Со мной все ясно. Я смотрю с удивлением. Чего это он?

Мощный лоб, туго обтянутый кожей, развитые брови, лицо крупное, сужающееся к подбородку, твердая линия худых скул. По китайской системе „чтения лиц” — натура художественная, эмоцио-

нальная, с большой творческой энергией, но и с обостренным чувством трагического. На процветающего литератора он не похож. Ну и прекрасно. Но какая тяжесть у него на душе?

Неожиданно он вновь оживает.

— Расскажи-ка лучше о нашем друге. Как он там? Часто его видишь? Здоров? Работает? Как настроение? — Грант берет в руки книгу из тех, что я передал, листает. — Вот это он написал блестяще. И это тоже прекрасная повесть. А эту (опять не меняя интонации) — я не люблю, она формальна. Да! И последняя вещь замечательная. Я завидую ему, он счастливый человек. Он думает, просто думает — и это уже литература.

— Да, это точно. Но и ты тоже, — говорю я ему, с удовольствием, но и не без нажима, приучая себя к этому ты. — Тут все дело в различном мышлении. Ты тоже просто думаешь, и это уже литература. Но мышление твое иного плана, иного характера, оно более предметно и материально. У тебя не мысль выражается в слове, а предмет: человек, животное, дерево, дом. Но поскольку они у тебя не пусты, а содержат *душу*, то, умершие в своей материальности, перешедшие в слово, выраженные в нем, они эту душу в нем сохраняют. Душа их бессмертна. Чего больше желать творцу?

— Не знаю, — говорит он. — Может быть, так... Все равно положение мое безнадежно.

Опять! Этого я никак не понимаю. Мне импонирует его пессимизм, но я не чувствую его основы. Ведь не может же быть, чтобы он рассуждал и об этом в близких мне категориях. Такой мысли я допустить не могу. Но, оказывается, что именно так.

— Мое положение безнадежно, — повторяет Грант. — Последний одинокий писатель у крохот-

ного вымирающего народа, с вымирающей, уже мертвой культурой. Писатель без читателя. Я знаю почти всех своих читателей — лично, заочно или понаслышке. Мои читатели — это мои знакомые. Как ты думаешь, может писатель писать для своих знакомых?

Ужас. И полная для меня неожиданность — такое совпадение мыслей. Но одно дело — мои отвлеченные рассуждения и совсем другое — его живая судьба. Так вот какую тяжесть — всю, без иллюзий и скидок, он несет в своей душе постоянно.

Что-то надо сказать, не просто посочувствовать, а как-то основательно возразить. И я хватаюсь за мысли Сергея о его, Гранта, месте в армянской прозе, о его значении для будущей литературы — и излагаю их как могу. Он заметно светлеет.

— Кто его знает. Кто может предвидеть будущее? Все в руках Божиих. Надо работать, надо много работать, иного выхода у нас нет...

— Кстати, — говорю я, — насчет читателей. Уж в России у тебя их достаточно. И вполне незнакомых.

И рассказываю ему о звонке из Киева. Он не скрывает своего удовольствия.

— И что, — смеется, — ты действительно сразу понял, о ком идет речь?

— Ни минуты не сомневался. Как я мог сомневаться, когда...

И тут я разворачиваю уже свой собственный большой дифирамб, несколько выходящий за рамки вкуса и меры, но уместный, я в этом убежден и сейчас, вполне уместный в разговоре с художником, с человеком, **н а п и с а в ш и м к н и г у**. За эту реализованную невозможность и за трату, превышающую все запасы. Велика ли за это любая плата? Любая мала, никакой не надо, но грех не поддерживать, не сказать похвалы, если есть хоть малейшее к

тому основание. Грех утаить, не вернуть хоть частицы тепла и света. И тут, как, впрочем, и всегда в жизни, лучше передать, чем недодать.

— К чему я все это? — говорю я Гранту. — К тому, что есть у тебя читатель в России, и значит, напрашивается вопрос: как ты относишься к переводам?

Матевосяна переводит Анаит Баяндур, переводит, по-моему, очень достойно. Хороший русский язык, подвижная гибкая проза, с некоторой естественной стилизацией, но без злоупотребления инверсиями и акцентами.

— О-о-о, плохо! — восклицает Грант и закрывает лицо ладонями, и не сразу отнимает их от лица. — Плохо, Юра, — повторяет он, — плохо! Я не знаю, мне трудно судить, может быть, иначе нельзя, быть может, то, что делает Анаит, — это как раз предел. Но ее книги — это ее книги, и если они нравятся русскому читателю, то я желаю ей всяких благ, но моя заслуга тут минимальная. Анаит — умница и талант. Но я пишу т я ж е л о , у меня тяжелый трудный язык, а она — резвится и скачет. Нет, это не я...

Такая опять неожиданность. И опять мне безумно приятен его максимализм. Все правильно, не может настоящий писатель чувствовать себя автором иноязычного текста. Конечно, это не он. И все же я вынужден сделать скидку, как-то снизить, перечислить его слова, воспринять их, скажем, метафорически. Потому что иначе выходит что же? Выходит, что я его не читал? У меня же есть чувство, и я ему доверяю, что я все-таки читал Гранта Матевосяна. Что при всей невозможности перевода, еще более на взгляд очевидной, чем невозможность первичного творчества, нечто главное, вложенное Грантом Матевосяном в его непонятную армянскую

книгу, перешло ко мне из книги Анаит Баяндур. И быть может, лучшее подтверждение моей правоты — это то, что сидящий передо мной человек во всех основных чертах совпадает с тем образом автора, который возник у меня при чтении. Я понимаю, что мне просто повезло, что это не такой уж частый случай, но он важен мне не только сам по себе, а еще того более — как явление, которое, если и не устанавливает закономерности, то хотя бы подрывает другой, противоположный ряд.

Помните, как у Сэлинджера рассуждает пятнадцатилетний Холден:

„...А увлекают меня такие книжки, что как ее дочитаешь до конца — так сразу подумаешь: хорошо, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтобы с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но это редко бывает”.

Это редко бывает, Холден прав, но еще реже бывает, что, если даже случилось такое и ты захотел позвонить писателю, ты услышишь тот самый голос, который хотел услышать. И если ты с этим человеком когда-нибудь встретишься, то еще неизвестно, захочешь ли подружиться. Пока Аполлон не требует поэта, поэт бывает сущим чудовищем. И даже существует такое мнение, что это — закономерность и необходимость, и чуть ли даже не залог таланта, уж во всяком случае — непременно следствие. И что чем выше и значительнее творчество, тем дальше в авторе личность творца отстоит от личности человека.

Не дай-то Бог, чтобы все это было так!

Я не верю в талант как в способность сокрытия и трансформации и не верю в творчество как искупление жизни. Я не знаю, чем искупается жизнь, быть может, ничем, но только не творчеством. Острота чувств, чистота помыслов, доброта, ум и, главное,

совесть, не могут рождаться лишь в акте творчества и жить лишь в воображаемом мире. Они исходно должны существовать в человеке, до того, как он сел за письменный стол. Так я хочу и так я верю.

И если я прочел и полюбил какую-то книгу, что означает — полюбил ее автора, то есть тот его образ, который возник у меня при чтении, то я уверен, что полюбил бы его и в жизни, захотел бы, чтобы он стал моим лучшим другом и чтобы я мог ему позвонить, когда захочу. А если бы я разочаровался после этого, то это бы значило, что я плохо читал.

Грант Матевосян был именно тот писатель, которому я хотел бы позвонить.

4

Нас зовут в гостиную, мы переходим, я сажусь на тахту за журнальный столик, и с этого момента все мое зрение и все внимание ограничены узким конусом высвечиваемого пространства, куда вмещается лишь этот столик — и Грант, сидящий напротив. Больше я ничего не вижу, ни размеров комнаты, ни обстановки, ни сколько окон, ни что на стенах. Гранту дали в руки кофейную мельницу (в Ереване у всех — только ручные), и он мелет кофе и задает мне первый серьезный вопрос: чем я занимаюсь, кто по профессии. Что мне сказать? Я не знаю, насколько ему это важно, скорее всего — простая вежливость, да еще — уточнение координат, чтобы яснее видеть, к кому обращаешься. Но мне-то, мне-то как раз это важно безумно! И не только вообще, как суть дела, но еще и потому, что Грант Матевосян — это, если быть до конца откровенным, тот единственный человек, к которому я ехал из Москвы в Армению. Я — подлинный, я — настоящий, а

не тот, за кого я себя выдаю. И вот я сижу перед ним и молчу. Что мне сказать.

— Инженер, — вяло говорю я Гранту, и больше мне не хочется говорить. Все. Хоть сейчас домой. И в Москву, а не к Цогик Хореновне.

Грант смотрит мне прямо в глаза воспаленно и остро и, как бы не слыша моего ответа, задает следующий вопрос:

— Скажи, Юра, у тебя есть публикации? Вышла книга?

Новая сложность. Как в том анекдоте про милиционера: книга у него уже есть... Мне смертельно не хочется отвечать отрицательно. Пропать между этими „да” и „нет”, даже для умного человека, знающего цену вещам. Но, с другой стороны, можно ли с ним говорить о тех публикациях. *Тот* мир существует ли для него? Вот она, культурно-языковая граница. Ведь и не сомневался бы в разговоре с русским писателем. Что с писателем, — любым нормальным человеком. Но здесь, в Армении... кто их знает. Вдруг вот сейчас я скажу... и увижу холод, и отчужденность, и даже что-то вроде опаски. Страшно подумать. И я отвечаю:

— Нет... Практически нет.

Этого странного минутного затмения я долго не мог себе потом простить. И не потому, что не выглядел на рупь дороже, а потому, что нарушил свой собственный принцип, главное свое кредо. Стоило же мне с таким вниманием и такой любовью читать произведения этого человека, чтобы потом в разговоре с ним самим подвергнуть сомнению его ум и искренность!

Грант доброжелательно улыбается, кажется, он понял гораздо больше, чем я сказал. Вообще, несмотря на скованность собственной речи, язык он

понимает, должно быть, абсолютно, я это чувствую и становлюсь свободнее, и только теперь отмечаю, что вначале невольно упрощал построение фраз. Важинэ приносит нам кофе. Грант открывает коньяк, кивает жене: да, да, немного, только за встречу. Он наливает себе наполовину, мне — вдвое, и я не отказываюсь, хотя чувствую, что легко могу опьянеть при таком возбуждении. Отчего-то мне очень хочется есть, но, конечно, какая сейчас еда в одиннадцать вечера, — даже если это дом, *где кормят*. А таков ли еще в действительности этот дом, мне бы тоже очень хотелось узнать...

5

Это ведь не случайная характеристика, не просто одно из возможных качеств, это два различных мира: дом, где кормят, и дом, где не кормят. Когда мы в нашей полуголодной стране сажаем гостя за стол, едва он снимает пальто, и выкладываем все, что есть в холодильнике, то это, конечно, национальный ритуал, но это и выражение доброжелательства, предельно доступное в данный момент, и приглашение к раскованности и простоте.

Кормить входящего — простонародный обычай. Я имею в виду не образовательный ценз, а общую простоту уклада, открытость и естественность отношений, а если ценз, то скорее имущественный. Наблюдается странная закономерность с далеко нечастыми исключениями: чем богаче дом, в который идешь, тем меньше вероятность, что тебя пригласят к столу. То ли все богатые считают копейку, оттого они и богатые, то ли по своим материальным возможностям чувствуют себя уже на Западе и усваивают именно этот его обычай, то ли просто те-

ряются — и такая приходит сумасшедшая мысль, — теряются от неограниченных своих возможностей и просто не знают, чем угостить. „Скажите честно, вы голодны? У меня, как назло, шаром покати”. Так говорят наиболее совестливые, и означает это: „Извините, такой уж я жмот и лентяй”. И еще это означает, что общение будет светское. Никаких откровений и излияний. Обсудим международное положение, деловые вопросы, если они имеются, затем — пару легких сплетен и политических анекдотов без мата и расстанемся теми же, кем повстречались. И вы честно отвечаете, что не голодны, совершенно, ни капельки, абсолютно, никогда не были и не будете, так наелись, что уж навсегда..

В лучшем случае вам предлагают чай. С тортом, который вы принесли, потому что бутылку было неловко, вроде как напрашиваешься на закуску. Во время предшествующей беседы много раз и со значением повторяется: „Сейчас будет чай”. Вы не знаете, то ли надо громко радоваться, то ли отказываться, то ли не замечать, и исполняете все это по очереди. Затем вас, наконец, зовут, вы переходите в большую гостиную, где ваш торт затерялся на огромной площади нарядного стола, среди бесчисленных тарелочек, блюдец, чашечек, ложечек, вилок и еще каких-то орудий культуры быта. Нет, торт не одинок, неправда, как вы могли такое подумать! Симметрично присовокуплены две прекрасные вазочки, одна с сахаром, — конечно, рафинад, чтобы лежал, как камушек, в холодном чае, а чай-то уж точно будет холодный, — и другая, с декоративными карамельками. Чай приносят с кухни, и он, конечно, холодный, зато и некрепкий. Рафинад пальцами безусловно нельзя брать, а ложечкой трудно, а специальная механическая лапа — ну ее к дьяволу, лучше не тро-

гать. Значит, пьем несладкий. Торт тоже — неизвестно, как его есть, и лучше бы вообще не есть: противный, мокрый. И вообще ненавижу эти торты, себе бы домой никогда не купил, просто нечего было больше придумать. Вам предлагают налить еще и вы соглашаетесь, не сидеть же вот так над пустой чашкой. Но это — самоубийственная уступчивость, потому что вам вообще не хочется чаю, а даже совсем напротив. Подлость всегда настагает в такой принужденности, так что и первая чашка была уже лишней, а вторая может стать роковой... И когда вы, раскланявшись, наконец, вылетаете и мчитесь в метро, то, кроме главного, доминирующего веления, вы испытываете еще кое-что. Вам хочется кинуть камень в стекло киоска, или взять и плюнуть в лицо прохожему, или хотя бы встать и завывать по-волчьи...

Вы скажете, что все это преувеличено, что можно и без всякой еды прекрасно общаться с людьми и, с другой стороны, помирать с тоски при обильной жратве. Но это возражение так формально и так поверхностно, что я даже не хочу его обсуждать. Ясно ведь, о чем разговор, так чего ж занудствовать?

6

Дом Гранта Матевососяна был, конечно же, домом, где кормят, и даже в одиннадцать вечера. Мы выпили с Грантом по рюмке, запили кофе, и тут принесли нам курицу с рисом, и это было то, о чем только можно мечтать.

И вот мы сидим и едим прямо так, за журнальным столиком, разговариваем и попиваем коньяк.

— Хорошая курица, — говорит Важинэ, — его мама из деревни прислала...

И я вспоминаю повесть о том, как мать везет продукты горожанину-сыну: кур, мацуна и шесть сотен яиц, чтобы не сохли мозги от умственной работы.

— Да-да, — смеется Важинэ, — и мацун тоже прислала. Вы, наверное, не пробовали настоящий мацун, в магазинах — это вообще не мацун, поешьте, я потом обязательно дам вам попробовать. Нет, нет, я сама уже ничего не могу, мы ведь ужинали, но Грант за компанию может, такой прожорливый, куда только все уходит...

Мы говорим о всяком, о разном и, в частности, о деревенской прозе, к которой младенческая наша критика, естественно, причисляет также и Гранта. Мы сходимся на том, что среди русских „деревенщиков” два-три заслуживают всяческого уважения, это талантливые и честные люди, по крайней мере, в некоторых своих произведениях, по крайней мере, в одном, и на том спасибо. Но все это не имеет никакого отношения к Гранту.

— Хорошие писатели, — говорит Грант, — я желаю им всяких успехов. *Я завидую им: они счастливые люди...*

Та же формула, что и о нашем друге, но уже совершенно иной смысл. Нет, все это не имеет к нему отношения, и не только потому, что русская деревня мало похожа на армянскую, тут различие более глубокое, и литературное, и человеческое.

Только прочитав повести Гранта, я понял, что прежнее мое отношение к деревенской прозе не было свободно от известной скидки. Правда жизни, выступавшая как правда поступков и слов, — вот предел, к которому могли стремиться и которого порой достигали здесь авторы. И казалось, что этот

предел продиктован самим материалом, что чего ж еще требовать от писателя, когда вот она, деревенская жизнь, не прикрашенная ударническими бреднями, патриотическим бескорыстием, колхозным изобилием и отеческой мудростью секретаря обкома, а — как есть: тяжелая до неподъемности, непонятно, чем преодолеваемая, одной лишь непостижимой крестьянской живучестью. Но на этом и кончалась непостижимость, здесь обрывался путь в бесконечные глубины души. Эту безмерную глубину и сложность, эту ускользающую тонкость душевных движений в „человеке земли”, его **д у х о в н у ю** **п о л н о ц е н н о с т ь**, безо всяких, пусть даже лестных, скидок на естественность и отсутствие рефлексии — Грант Матевосян показал впервые.

Я не устану и не забуду выражать благодарность нашим лучшим деревенщикам за правду жизни, так непросто добываемую, за правду труда и страдания. Но Грант Матевосян — писатель другой категории, и нельзя относить его к этим. Он просто принципиально занят другим делом. Подлинность поступков во взаимодействии у него как бы подразумевается сама собой, она безусловна и не есть предмет разговора. А предмет разговора Матевосяна с читателем — это внутреннее состояние его героя: настроение, восприятие, ощущение, мотивация — во всех тонкостях этих понятий, именно во всех, ни больше, ни меньше, поскольку есть постоянное ощущение их неуловимости и бесконечности.

Нам, например, при чтении важно почувствовать, что автор знает несравнимо больше, чем говорит, что он знает попросту все о данном предмете. Но еще важнее для нас уверенность, что автор **ч у в -**
с т в у е т происходящее, и не только в том смысле, что лично причастен и кровно заинтересован, но чувствует опять-таки **в с е** — все нюансы, все

стороны, всю многосмысленность действия и весь бесконечный спектр реальных и возможных ощущений героя. И Матевосян именно такой автор. Текущая подвижная емкость его прозы вмещает не только сугубую предметность, свободную от всякой идеализации, осязаемую до озноба, до шершавости земли, до температуры тела и тембра голоса, но и нечто неизмеримо большее: душу человека, его божественную сущность. В тех сферах ничего нельзя утверждать, и тем более ни на чем нельзя настаивать, но, при всем отсутствии в прозе Матевосяна провозглашенной декларируемой духовности, только такими непривычными словами хочется о ней говорить: Божий человек, Божий мир...

— Я желаю им всяких успехов. Я завидую им: они счастливые люди.

Мне кажется, я понимаю, что он хочет сказать. Здесь нет двусмысленности и подначки, наоборот, спокойное доброжелательство и привычная жалоба на сложность своей судьбы, на трудности собственного пути, не им самим, по сути, избранного...

Мы немного перебираем современных писателей, и мнения наши в основном сходятся. Грант называет двух зарубежных армян, но я их, конечно, не знаю, затем Сарояна, а я делаю вид, что знаю, и тут же прощаю себе эту ложь, потому что это лучше, чем так его огорчить. Про себя же я думаю, что, значит, верно — армянский писатель, кому же судить, как не Гранту...

Мы как-то переходим на детские книги, а с них —

на детей. А дети — вот они, давно уже тут как тут. Двенадцать часов, и завтра обоим в школу с утра, а они сидят как ни в чем не бывало и очень внимательно слушают. И даже участвуют, поправляя время от времени то папу, то маму. Важинэ — сама учительница в школе, армянский язык и литература, видимо, она знает цену грамматике и повторяет слова с удовольствием, улыбаясь и согласно кивая детям, но немного сердится, когда они поправляют отца. Дети, по-моему, просто чудесные, у обоих чистые и ясные лица, а в глазах глубина и наполненность. Мне особенно приятно, что тоже двое и примерно такая же разница в возрасте. Ко всем моим чувствам прибавляется и это: солидарность с родителями, для которых дети — самое главное в жизни, все-таки дети, а потом уже все остальное. Я чувствую, что здесь это именно так, да Грант и говорит мне об этом прямо — тихонько и коротко, чтобы они не услышали.

Дети учатся в *армянской школе с английским уклоном* — очень мне нравится это сочетание. И вообще хорошо, что не в русской, как это принято у здешних новоиспеченных интеллигентов. Мне рассказывал Сергей, что это просто бедствие для Армении. Детей стараются отдавать только в русские школы, потому что это облегчает дальнейшую учебу и все последующее продвижение. Все равно ведь они в быту разговаривают по-армянски и, значит, будут знать два языка. На самом деле получается наоборот. В русских школах преподают с армянским акцентом, в быту не читают и не пишут по-армянски, и люди выходят в конце концов полуграмотные, не приобщенные ни к тому, ни к другому, по сути, — люди без языка. Все это, видимо, знают и учитывают в этом доме.

Армянская школа с английским уклоном... Гово-

рят, армяне способны к языкам, армянская грамматика развита и сложна, семь падежей, восемь склонений, а фонетика включает звуки почти всех европейских словарей. Тридцать девять букв в алфавите — недаром так много.

С английским уклоном... может быть, и Вильям Сароян — армянский писатель с английским уклоном? Или английский писатель с армянским уклоном. Нет, тогда уж так: американский писатель с английским языком и армянским уклоном. С Грантом все-таки проще, никаких уклонов, чистый армянин. Ну а я кто такой?

И тут он как раз об этом спрашивает, что-то задержался, давно бы пора. Я отвечаю без малейшего вздрoga, хотя и отмечаю опять эту легкость, спасибо, в который раз мне так просто это сказать в Армении, гораздо проще и легче, чем даже сейчас написать... Грант улыбается, он приветствует меня еще раз, уже в новом качестве. Он говорит о сходстве культур и судеб, о корнях, о древности, о трагизме, о стойкости национального духа. Тема эта для меня не нова, но он излагает ее так ярко и вдохновенно — это ведь все на чужом языке! — что я чувствую себя не на шутку захваченным. Я смотрю на прекрасное его лицо и думаю о том постоянном внутреннем пламени, которое сжигает этого человека. Здоров ли он физически? На вид крепок. Крестьянин в детстве, спортсмен в студенчестве. По некоторым репликам, брошенным по-русски, и еще по каким-то мелким признакам чувствуется, что все-таки не вполне. Человек, живущий такой самоотдачей, не может быть абсолютно здоровым, чего я хочу. А хочу я немногого: пусть он будет настолько болезнен, чтобы с высокой остротой воспринимать окружающее, но и настолько здоров, чтобы жить долго и без страдания...

— И христианство, — говорит он. — Наше христианство — почти из первых рук. Армянская церковь, как, быть может, никакая другая, сохранила библейскую традицию и ветхозаветную преемственность. Это видно даже по внешним атрибутам, по обряду — ты еще обратишь внимание.

Он спрашивает об общих моих впечатлениях. Я говорю ему примерно то же, что говорил Володе. Ереван — не нравится. („Ужасный город! — он хватается за голову. — Ужасный, ужасный! Это просто вообще не Армения”). Но армяне мне нравятся, и даже очень. Нет, я встречал уже и глупых, и злых, и лживых. Но это не меняет моего впечатления. Не могу точно сказать, в чем тут дело, все слова, какие скажу, будут не те. Ну, может быть, так, что есть чувство общения с чем-то цельным, как бы с человеком, в котором присутствуют разные качества, и дурные и добрые, но, в общем-то, это человек замечательный, благородный, умный, одухотворенный. Странная вещь, я не чувствую ни малейшей отчужденности. Наоборот, я, мне кажется, во всех, даже самых незначительных, проявлениях, и даже не в самых лучших, угадываю душу этого народа, его общенациональную личность, и она бесконечно мне импонирует...

Он кивает, да, да, он понимает меня. Я спрашиваю Гранта, где же Армения, если не в Ереване, то где. Быть может, в Кировакане. Нет, кроме шуток, где же? Очевидно, в горах, в деревне?

— Не знаю, — говорит он задумчиво. — Я теперь и не знаю, где Армения. Да, скорее была в деревне, дольше всего держалась. Но деревня тоже испортилась, все потеряла. Она стала такой же пустой мещанкой, как город. Нет Армении, Юра, где ни ищи, есть только наша тоска по Армении!

— Но ведь это везде, — возражаю я. — Утрата пер-

вородства, потеря облика, это повсеместно, да в той же России...

— Нет, — он мотает головой. — Не везде одинаково. Для армян, как ни для одной нации в мире, оказался губительным отказ от религии. Христианство для армян было всем, а не просто многим. Ведь Армения — первая страна в мире, где христианство стало государственной религией. Армяне как будто только ее и ждали, были к ней абсолютно готовы. Церковь стала государством, школой, наукой, литературой, культурой. Божий храм оставался для армянина духовным и организующим центром даже тогда, когда он утратил это значение для всех других христианских народов. Даже в национальной жизни поляков церковь не играла такой исключительной роли. Но поляки с честью пронесли свое католичество через все катаклизмы, а армяне оказались духовно слабее, не выдержали, отказались — и остались ни с чем. И кому-кому, а им это с рук не сойдет. Я не знаю, не знаю, сохранимся ли мы теперь как народ, только чудо нас может спасти...

Он некоторое время смотрит куда-то в сторону, и когда снова поворачивает ко мне лицо, то слезы, настоящие слезы стоят у него в глазах. Что за человек!

— Ну-ну, сел на своего конька, — ласково ворчит Важинэ. — Ешьте, пожалуйста, он вас заговорит, эта тема у него неисчерпаема.

Я пытаюсь как-то возражать Гранту, я говорю о тайне национального духа, об удивительной его стойкости и изворотливости. Ведь вот же он говорил о родстве судеб армян и евреев, а евреи как раз хрестоматийный пример сохранности нации вопреки всем разрушительным факторам. Хотя у евреев, в отличие от армян, по сути, нет современной национальной культуры... „Как так можно гово-

ритель!” — вскидывается Грант, и теперь уже он меня утешает, хотя не могу сказать, что я очень расстроен. Разговор становится немного вчерашним. Мы оба сообщаем друг другу то, что подумали когда-то прежде и даже сказали давно и не раз. Грант замечает это не позже меня, он останавливается и наполняет рюмки.

— Выпьем, Юра, — говорит он, — выпьем за Литературу! Она одна осталась еще в этом страшном мире, единственное наше прибежище и утешение!

Это он прекрасно сказал. Мы пьем, и он спрашивает меня, где я был, что видел.

— Машину! — хлопает он себя по колену. — Надо машину. А где ее взять. Мне сейчас ну просто некого попросить. Без машины разве много увидишь.

— Ничего, — говорю я, — не волнуйся, мне так даже лучше. В машине ездить — как раз ничего не увидишь. Я предпочитаю автобус. Меньше удобств, меньше подвижности, зато насколько больше узнаешь о людях. То ты их видишь, как на экране, из окон отдельного комфортабельного мирка, и даже если выходишь на свет Божий, то чувствуешь этот свой мирок позади себя, и поглядываешь на него непременно, хотя бы внутренним взором, и всегда готов вернуться назад. И везде ты временный гость, посторонний зритель, никакие внешние условия для тебя не обязательны, ты и не воспринимаешь их всерьез, потому что дом твой — вот он, поблескивает на обочине. А то ты купил билет и поехал как все, как какой-нибудь там старичок в шляпе, или женщина с ребенком, ты живешь одной с ними жизнью, и даже если не перемолвишься словом, ощущение общности у тебя останется, ты их уже как бы отчасти понял. И если ты выйдешь погулять на остановке, то между тобой и местными жителями тоже будет не такая большая дистанция, они

вполне могли бы сойти с автобуса, а ты бы мог сидеть на скамейке. А главное, если уж дом твой там, далеко, ты оставил его и приехал сюда, то ты действительно здесь и больше нигде, и нет у тебя никакой лазейки или уловки. Ты не просто смотришь и слушаешь, ты здесь живешь...

— Да, да. А все-таки, — смеется Грант, — была бы машина, ты бы не отказался.

— Это, — говорю я, — другой вопрос. — Не отказался бы, конечно, слаб человек. А у тебя, значит, машины нет. А была?

— Не было и никогда не будет.

Я не спрашиваю, почему, и согласно подхватываю:

— И не надо! Ни в коем случае.

Он озадачен, смотрит с явным любопытством:

— Ну-ка, а ты почему так думаешь?

— Да все потому же, — говорю я, — все потому же. Есть предел удаленности от общества, в котором живешь, и этот предел — именно здесь. Автомобиль — это не просто имущество, пусть дорогое. Это материализованный итог и символ, это возможность в стране невозможностей, воплощенная мечта народных масс, вождеденная Шинель советского быта. Всякий достигший — уже иностранец, не здешний житель, не наш человек. И для писателя это не может пройти бесследно. Я всерьез думаю, что многими ненаписанными произведениями, а также написанными, но не теми, мы обязаны собственному автомобилю.

— Интересно, — улыбается Грант. — Но уж слишком серьезно. А сам ты, будь у тебя деньги, неужели удержался бы, не купил?

— Купил бы, наверно, что я — лучше других? Я же говорю, слаб человек, это и грустно.

— Ну что ж, если ты и прав, то не вполне. Во всяком случае есть исключения. Ну, одно уж наверняка.

Он приводит пример хорошо известный нам обоим.

— Да, это так, — говорю я. — И все-таки. Не знаю, — говорю я, — может быть, в данном случае. И вообще иногда. Хотелось бы. Дай-то Бог.

Детям просто катастрофически пора спать, они зевают во весь рот, но не трогаются с места, и выходит, что все это из-за меня. Я, конечно, польщен в какой-то степени, но ведь и совесть надо иметь. Когда я уже стою и готов к выходу, Важинэ приносит мне миску мацуна. „Это вы непременно должны попробовать, это тоже от мамы, прямо из деревни, больше ведь вам нигде не доведется”. Есть надо ложкой, густая масса и, действительно, очень вкусно, ничего общего с магазинной кислятиной. Я дохлебываю уже на ходу и тянусь к двери. Родители дают последние указания детям, я различаю многократные повторы одних и тех же оборотов — как это знакомо! — и спускаются меня проводить. Мы проходим втроем по нашей общей улице, ярко светят звезды и фонари, а может быть, только звезды, но как же тогда фонари? — и останавливаемся у моего подъезда.

— Передай нашему другу, — говорит на прощанье Грант, — что повесть, которую я пишу, называется „Божий свет — свет моей Совестью”.

— Он у нас теперь как Лев Толстой, — смеется Важинэ. Она в черном пиджаке Гранта, он в одной белой рубашке, бережно обнимает ее за плечи. — Он теперь у нас как Лев Толстой. Пишет на темы морали и называет полными предложениями.

— Обязательно передай, — серьезно повторяет

Грант. — Потому что, когда вы ее прочтете, она будет называться совсем иначе. А на самом деле именно так: „Божий свет — свет моей Совести”.

Глава шестая

ТОСКА ПО АРМЕНИИ

1

Я знал заранее, что встреча с Матевосяном будет центром моей ереванской жизни, и так оно, конечно, и вышло. Все дальнейшее и в дальнейшем — все окружающее воспринимал я как бы под знаком Гранта. И если что-нибудь мне не понравилось, то я говорил себе: „А все-таки Грант!” А если что-нибудь нравилось, то думал: „Ну, конечно, как же иначе, вот ведь и Грант...”

Я еще позвонил ему пару раз, но как-то все опять неудачно, то ли не было его, то ли был он занят, и я решил, что, видимо, и не надо. Не надо вытягивать у судьбы больше, чем она сама отпускает, вытянешь силой — окажется вовсе не то, что хотел, уже оно будет в руках, никуда не денешь...

Повседневная наша жизнь тоже пошла иначе. Мы решили с Олегом работать порознь, он — на халтуре, в химиконическом, а я — на госслужбе, в Гео-био, у Миши. Это очень повысило мой жизненный тонус, не говоря уже о производительности труда. Мы расставались утром на углу у булочной и шли в разные стороны, и это было прекрасно. Я шел прямо, или сворачивал — не обсуждая, направо, налево, не решая вообще никаких вопросов, я просто шел, как мне хотелось, ни на что не отвлекая своего внимания, ни на вызванные, ни на выбранные разговоры,

смотрел по сторонам, вбирал и чувствовал и думал, сколько было душе угодно. Погода стояла совсем чудесная, днем в пиджаке становилось жарко, утром же дул резковатый ветерок, приятно освежавший и оживлявший. „Ветер с гор” — хотелось о нем сказать, да, наверное, он и был с гор, откуда же еще, когда кругом горы. И, конечно, на работу я не спешил, звонил Мише из автомата, чтобы он запустил очередную кривую, и, имея в запасе два-три часа, со спокойной совестью уплывал налево, что, впрочем, могло означать и направо. Прогуливаясь, я проходил все знакомые улицы, это я еще как бы шел к у д а - т о , затем, оказавшись на незнакомых, уже прогуливался п р о с т о т а к , и это и было моей целью. Такая необязательность и беззаботность, не то чтобы мне не слишком привычная, но просто не помню, когда и испытанная, освежала душу не хуже горного ветра. Непонятная речь прохожих не вызывала тоски отчуждения, я ведь знал, что могу спросить и меня поймут, наоборот, подчеркивала исключительность моего состояния. Иногда лишь я вдруг удивлялся: как это все вокруг говорят, ну о чем бы это можно — непрерывно и в стольких лицах. Но тут же, отодвигаясь, представлял себе холодно, о чем обычно говорят в толпе, и искренне радовался, что не понимаю ни слова. Иногда я поглядывал на часы, все же и тут я не так уж свободен, вот прошлялся уже половину времени и надо обратно, если я не хочу в автобус. Я не хочу.

Открытых магазинов еще мало, и, разнообразя обратный путь, я захожу в обувные торговые павильончики местной фирмы „Масис”. Эта фирма проявляет чудеса изворотливости: голландские подошвы, армянский верх, все это склеено русским клеем, и, если не рассматривать чересчур присталь-

но, то просто французская модельная обувь. Цены, разумеется, соответствуют. Но это и правильно, чего стесняться? Любопытно другое: как им удалось провести эту вольницу, обойти законы или добиться новых. Ведь вот заходишь в магазин — и как будто ты в каком-нибудь Загребе. Тебе готовы показать все, что имеется, и, если нет твоего размера, то зайдите завтра, нет, послезавтра в то же время, всего доброго!.. Дух запретного предпринимательства витает над советской Арменией. Вот еще и киоски с галантереей, тоже с подозрительной какой-то продукцией, явно учаственного происхождения. Но тут уж качеством не похвалишься, рассчитано на неразборчивых провинциалов, на темных кормильцев-поильцев с гор...

Проходя мимо этих киосков и лавочек, я подумал о странном таком противоречии. Я ведь не откуда-нибудь со стороны, с детства, по самым близким контактам знаю всех этих честных деляг, добывающих свои законные тысячи в обход беспардонных наших законов. Ну не армян — евреев, русских, какая разница? Я вполне им сочувствую, я их понимаю, но не выдерживаю с ними никакого общения. Был момент, когда это меня встревожило. С чего это мне быть таким чистоплюем? Я стал при всех удобных случаях приглядываться то к одному, то к другому, как бы сбоку, под новым ракурсом, и обнаружил, что все они сплошь — уроды. Ухватываясь за шестеренку стальной машины, вращая ее тайно в другую сторону, они калечат себя еще больше, чем те, кто бездумно движется в общем кружении. И дело тут не в обычном свойстве противостояния, неизбежно роднящего с тем, кому противостояешь. Дело в том, что подпольные коммерсанты вообще ничему не противостоят, а совсем наоборот, активно используют все то, что мы терпим

сокрушенно и бездеятельно. Поговорите с любым из этих преступников, с ежедневным нарушителем и подпольщиком — вы увидите, что он правоверен, как старший сержант, и благонадежен, как начальник отдела кадров, а если где-то и критикнет, то сделает это так невпопад и по-свински, что вам захочется тут же вступить за бедную многострадальную вашу родину, и вы выпалите что-нибудь несусветное и будете долго метать этот бисер под насмешливое и снисходительное хрюканье...

И вот я гуляю по Еревану и на каждом шагу — в павильоне, в буфете, в киоске, в кафе, в раскрытых дверях кустарных цехов бесчисленных сарайчиков, разбросанных по городу, — вижу признаки частной инициативы. Дух разрешенного предпринимательства витает над советской Арменией. И, казалось бы, я должен его приветствовать, я и приветствую как могу, но — абстрактно, отвлеченно, как категорию, а не как совокупность определенных людей. Людям же этим — я не доверяю. Я уже не раз обжигался и не испытываю к ним никакой симпатии. И хотел бы, да не могу. И кто виноват? Россия-матушка, крепка твоя лапушка... Ах ты, мать наша мать, думаю я, ты как та безумная баба в рассказе Мопасана: если и почувствуешь в своем чреве нечто живое и теплое, то так его сдавишь, еще до рождения, что родишь заведомого уродя. Будь ты неладна...

2

Когда я возвращаюсь на центральную улицу, у меня еще остается время, еще не пора, не пора. Я, собственно, знал, что оно останется, и нарочно себя торопил и обманывал и теперь еще минут сорок могу посидеть в кафе на встроенной в толщу домов

открытой площадке, попить кофе, почитать, подумывать, поглазеть на окружающих и на прохожих. Время уже — после десяти, и прохожие на улицах, и посетители кафе — это главным образом интеллигенты, в большинстве — люди свободных профессий. Но это я только могу догадываться, а такой смены лиц по часам, как в Москве, от похмельных рабочих к деловитым технарям, а от них к неторопливым научным работникам, среди которых, бывает, встретишь иногда и л и ц о — такой смены здесь не отметишь, во всяком случае, нужна привычка. Здесь л и ц о , и порой просто поразительное, можно увидеть у мусорщика, у дорожного рабочего, у продавца огурцов. И вот стой и смотри на такого и мучайся: то ли и внутри он такой и в свободное время читает Канта и пишет музыку, то ли это бессмертный и щедрый дух мудрого, книжного и крепкого верой народа осенил его по ошибке... А быть может еще, что нет никакого Канта, чёрта ли в Канте, но нет и ошибки, и этот человек исполнен простых и великих достоинств, как, например, добрейшая наша Цогик Хореновна...

Я сижу в углу за одиноким столиком, поглядываю то вокруг, то в раскрытую рукопись. Здесь, на таком удалении от тех мест, где это было написано, возникает новый остранный взгляд. Здесь текст как бы более незащищен, привычная окружающая среда не образует вокруг него оболочки, и всякое слово есть только то, что оно есть, и кажется, что любая неточность вопиет со страницы и требует вычерка или замены. Полезная вещь — перемена мест, жаль, что она нам так мало доступна...

Все столики заняты, за каждым — по двое, по трое, но ко мне никто не подсаживается. Видят, что работает человек, так чего же мешать. Кажется, проще простого, яснее ясного. Однако сядь-ка вот

так у себя в родимой столице. Сколько найдется рыл, чтобы влезть тебе в душу. Да и где ты там посидишь с одной чашечкой за пятнадцать копеек, да на сорок минут.

Но сорок минут истекают, и я встаю с сожалением. Спасибо, мне было у вас хорошо, я еще надеюсь вернуться.

В автобусе тоже неплохо, когда ты один и нет вынужденных разговоров. Грех говорить, Олег — замечательный парень, и порой я просто его люблю, но сколько же можно... В детстве кажется, что скука — это когда ты один и нечего делать. С годами все отчетливее понимаешь, что делать чего — всегда есть, а скука — это вынужденное общение. Зрелость наступает с того момента, когда начинаешь избегать знакомых на улице. Когда в первый раз, заметив в толпе сотрудника или соседа, ты не бросился к нему с радостным возгласом, а постарался незаметно отвернуться и смыться — вот это и был момент наступления зрелости. Иногда в связи с этим я думаю, а не в том ли отличие от нас Запада, не взрослее ли они попросту, вот и все?

Дорога, когда ты один, — совсем другая. Вот этот крутой поворот с интересным видом на город ты прошлый раз пропустил, разговаривая. Вот это огромное дерево, сквозь листву которого, как сквозь водопад, зажмурив глаза, проныривает автобус, ты не смог почувствовать по-настоящему, потому что обдумывал дурацкий ответ на дурацкий вопрос. А безликость огромной пустой современной улицы, на которую ты в конце концов выезжаешь, прошлый раз не вызвала в твоей душе такой ностальгии, такой животворной тоски одиночества, потому что ты был не один...

Я взбираюсь пешком на научную гору, крысы, ставшие мне уже привычными, выстреливают почти

из-под ног, справа — ряд серых блочных домов, мужчина нырнул под капот машины, задралась рубашка, открывая неприятно лоснящуюся поясницу, слева тянется высокая решетка вивария, сверху — ясное небо и солнце, позади — отчетливый Арарат, обе гипнотические его вершины, впереди, чуть левее, — свой, домашний, обыденный Арагац, на пути к нему — институт с прибором и Мишей. Барабан докрутился до сотни, мотор отключился, звенит звонок. Миша выключает и смотрит на дверь: где же этот московский бездельник? Я тут, Миша, я тут, уже на подходе. Только теперь я вспоминаю, кто я такой и зачем и куда иду.

Когда-то давно, на заре своей ремонтной карьеры, я начинал работу задолго, заранее, с вечера мучил себя над схемой, за завтраком проглядывал описание, а по дороге уж и думать не мог ни о чем другом. И на месте, не найдя неисправности сразу, с ходу, по первой же версии, впадал в беспредельное отчаяние, проклинал судьбу и собственную бездарность, был уверен, что все пропало, и уже, вместо принципа взаимодействия блоков, обдумывал, какую другую работу завтра же пойду искать. С годами все это, конечно, прошло, я усвоил набор ремонтных прописей, краткий молитвенник позитивиста: все, что сделано одними руками, другими может быть восстановлено; что одна неисправность — одна причина, а две — уже редкость, а трех не бывает, и, главное, что не бывает чудес, законы природы всегда соблюдаются, электроны не могут вдруг взбунтоваться, и если они как-то однажды направлены, то и будут двигаться в том направлении... Сама жизнь учит нас выживанию. Еще недавно ты выкладывался ежесекундно, выплывал на последних остатках воздуха — и вот уже, как старый пианист, полностью расслабляешься на всякой

паузе и работаешь только в те промежутки, которые отведены для работы, а иначе — кто же выдержит этот ритм?

Я стою перед Мишей, еще с портфелем в руках, смотрю на мокрый, только что проявленный лист фотобумаги и, с минуту многозначительно гмыкая, пытаюсь понять, чего от меня хотят? Я не волнуюсь, я знаю, это пройдет, все быстро встанет на свои места, все завертится в нужную сторону. Сейчас я открою рот и скажу, что надо.

— Ну что ж, — говорю я, — олл райт, не зря мы вчера поработали, совсем другая картинка. Остается настроить генератор импульсов, чем мы сейчас с тобой и займемся.

Разумеется, мы работаем порознь, соединяясь лишь для некоторых общих дел. Я настраиваю генератор, Миша крутит кофе, я проверяю частоты, Миша варит кофе, я пью кофе, Миша пьет кофе, я включаю мотор — мы идем обедать, полтора часа у нас в запасе.

— С одним условием, — говорю я строго, — сегодня плачу я.

Он хитро улыбается в усы.

— Ну-ну, хорошо, хорошо.

И в буфете, сверх взятых мною огурцов и сосисок, набирает еще колбасы, и случившегося сегодня сыра, и каких-то ватрушек, и пирожков, и чёрт знает откуда появившегося (я и не видел) пива.

Он сидит со мной, но разговаривает с окружающими, лишь время от времени поворачиваясь ко мне, чтобы приветливо улыбнуться. Я приветливо улыбаюсь в ответ. Такое общение. Мне остается усиленно жрать, но и этого что-то не хочется.

На обратном пути я поднимаюсь к Сюзанне, но она как раз занята, какая жалость, двухлетний отчет, и статья уже три недели висит, шеф сказал,

чтобы к понедельнику как из пушки, вот, пожалуйста, персики, угощайтесь, спасибо я только что, но это ведь не еда, спасибо, пока, заходите, пожалуйста... ста...

Вечером я разгибаю спину, выключаю прибор, надеваю пиджак, беру портфель, выхожу из комнаты. В вестибюле, в полумраке, при свете одного телевизора Миша со стариком-вахтером играют в нарды. Нарды, действительно, похожи на то, как я их себе представлял, не в деталях, но как-то в общем. Чего я не смог предвидеть, что в основе это — игра в кости. Что ж, на востоке, как на востоке. Негромко урчит телевизор, погромче — вахтер; Миша — опять потише, на уровне телевизора. Прощальные улыбки, кивки, помахивания руками — и я на свободе. По дороге, спускаясь к автобусу, я раздумываю, как мне убить вечер. Худший вариант — это домой. Чай, телевизор, обсуждение дел, разговоры „за жизнь” перед сном, на последнем дыхании — копание в схемах, планы на завтра. Уже в постели, в темноте, какой-нибудь нервный спор о политике, досада и ненависть к самому себе, прыжок с зажмуренными глазами в сторону, и, конечно, попадаешь в литературу, и опять досада и принужденность и дырявый баланс словаря. А потом, после примиряющей паузы, Олег читает свои стихи: „Среди забот и треволений я о тебе мечтал одной, и у тебя искал спасенья, но ты не стала мне родной” и так далее, и так далее, и я делаю вид, что сплю, и действительно сплю, и уже какими-то отдельными вздрагиваниями слышу сквозь сон его неумный голос:

— А Юлия Друнина? А Вероника Тушнова?

Самое лучшее — позвонить Сергею, погулять по городу, посидеть за кофе (сколько же я его выпи-

ваю за день!), и никакой принужденности ни на минуту, а сведений, самых интересных, — вагон. Он знает буквально все про Армению и, в тоже время, не лишен объективности, а напротив, лишен национальной узости, то и дело ставящей границы юмору. С ним у меня нет опасения выпалить что-нибудь не так, не в строку, проявить невольный, так сказать, шовинизм или, допустим, пренебрежение. Он знает прекрасно, что во мне этого нет, значит, не может быть и в моих словах, как бы на слух они ни звучали.

Мы сидим с ним за столиком, вечер, уютно, тепло, трудно представить, что это уже октябрь. Кофе давно уже выпит, и надо бы еще по чашечке, но идти и просить в окошко — напрасный труд, потому что буфетчица занята: какие-то парни без конца проходят внутрь, через дверь, за прилавок и выносят чашку за чашкой по мере приготовления.

— Знаешь, — говорит Сергей, — у меня не получится, т о ч н о , попробуй ты.

Я подхожу, ныряю в окошко, прошу, кричу — ноль внимания. Буфетчица переговаривается с парнями, двое выходят, выносят целый поднос, трое входят за следующим, остальные шумят за столиками. Сколькими различными интонациями здесь можно сказать: „Пожалуйста, будьте добры“. Здесь Армения, здесь говорят по-армянски, а по-русски — это говорят в России, и там же понимают этот язык, а здесь — Армения, только армянский... И тогда я замолкаю, ловлю паузу и произношу так отчетливо, как только могу:

— Послушайте, не позорьтесь, ребята, где же ваше знаменитое гостеприимство, что я о вас расскажу в Москве?

Я не ожидал такого эффекта. Все их налаженное движение вдруг останавливается как выключенное.

Все стоят, смотрят на меня, и парни, и женщина; мне улыбаются, передо мной извиняются, мне приносят — сколько вам: две? четыре чашки? и денег не надо, но, конечно, я плачу и с торжеством возвращаюсь к Сергею.

Он смеется:

— Ну я же сказал! Я их знаю, гадов, только престижем их и можно взять.

— Что ж, — говорю я, — это прекрасно. Прекрасно, что можно их взять престижем. Значит, не такие уж они нахалы, если так мгновенно срабатывает в них это чувство, обрывая инерцию блаженной потребности. Что мне нравится в Армении: здесь еще осталось место для неожиданностей. А кто у нас, добывая себе кусок, повернет на сто восемьдесят по каким-то идеальным мотивам? Пресловутая русская шапка-о-земь — легенда, гипербола, поэтический троп, вся былая бесшабашность оправлена в раму страха, пользы и опыта.

— Не идеализируй, — вздыхает Сергей. — Здесь тоже осталась одна внешность. Все мы под одним начальством ходим, и разница несущественная...

Но Сергея может не быть дома, и тогда я куплю бутылку вина в магазине самообслуживания — у двух симпатичных девушек, они посоветуют, какое взять, и пойду к Володе и Ане, в подвал, где мне всегда рады и только тем недовольны, что редко бываю. Там мы поужинаем, я поиграю с девочкой, почитаю ей книжку, а потом Аня ее станет укладывать, и мы выйдем с Володей погулять, пока она не уснет. Мы пройдем по шикарной соседней улице *Барекамутян* — Улице Дружбы, где стоят роскошные особняки *ахпаров*, разочарованно уехавших обратно на Запад, дворцы, занятые советскими учреждениями и различными общественными орга-

низациями; посидим все в том же кафе, где сидели бы с Сергеем; вернемся, стукнем в окошко у самого тротуара, и Аня махнет нам рукой: давайте, давайте. А там народу уже прибавится, забегут на огонек соседские девушки, и сотрудники Володи, и родственница Ани, и все мы будем еще что-то пить и вполголоса в полутьме веселиться, поглядывая на завешенную покрывалом кровать. Но девочка не проснется, она привыкла, такое ведь каждый вечер. А завтра им вставать в половине седьмого — девочку в ясли далеко везти и самим на работу. Но раньше полночи все равно уходить нельзя, большая будет обида.

3

В воскресенье мы трое — Сергей, Олег и я — встречаемся в центре и едем в Гегард. Наконец-то!

Народ в автобусе самый разный, главным образом, молодежь едет развлекаться, проводить воскресенье. Автобус идет только до Гарни, а там до Гегарда еще километров десять, это уж как хочешь. Дорога прекрасная, погода отменная, горы справа и горы слева, в основном округлые, серые, голые, совершенно голые, я бы сказал, откровенно голые, с редким гнездышком курчавости где-то в паху. Но любое пологое место с наклоном, ну хотя бы градусов в сорок, — уже хорошо: обязательно вспахано и аккуратно засеяно. Ближе к Гарни — зелени больше, встречаются мягкие вершины и склоны, сплошь покрытые лесом, и это безумно красиво, потому что лес разноцветный: красный, оранжевый, желтый и все оттенки зеленого.

Те, кому нужно выходить в Гарни, — те и выхо-

дят, а кто хочет дальше — тот едет дальше. Кто-то что-то сказал шоферу, и за лишний рубль он везет нас до места.

И здесь, сойдя с автобуса, мы проходим прямую арку и, сдерживая шаг, по крупной брусчатке — входим в Армению. Вот уж Армения, сомнений нет. Древний монастырь и Великий Храм здесь не выставлены на обозрение в виду снисходительных современных зданий, а спокойно царствуют сами по себе, среди таких же скалистых громадин, под тем же небом, что и в родном тринадцатом веке. И скорее экспонаты — это несколько разноцветных машин, застывших на обочине на краю обрыва.

Сергей ведет нас не просто, не прямо, а по собственному хитроумному сценарию. Сначала внешняя церковь, стройная, удивительно высокая внутри — снаружи казалась намного компактнее. Затем — огромный прекрасный зал, ничем не облицованный и не украшенный, остались одни только голые стены и четыре колонны, но все — абсолютной формы, и глубокий рельефный орнамент по куполу, непрерывный, переползающий через швы между плитами серого камня. А потом — другой такой же зал, кажется, что просто точная копия; да, говорим мы, совершенство, ничего не скажешь, но думаем: напрасно все-таки два одинаковых, это снижает пафос, исключительность утрачена. И вдруг я начинаю чувствовать — что-то не так. Чего-то здесь не хватает. Та же форма, те же колонны, тот же орнамент и так же переползает... Стоп! Ни через что не переползает орнамент, а ползет непрерывно сам по себе, потому что и материал его непрерывен. Все так же, как в первом зале, только тот сложен из многих камней, а этот вырублен из одного. И как ни ждал я его увидеть, как ни тверд был в убеждении, что любое реальное чудо бледнеет перед

талантливым своим описанием, а такое описание существовало, — все-таки был поражен, как ребенок...

А потом мы долго бродили внутри, в крохотной закопченной часовенке поставили по свечке за своих близких, в чистое озерцо родника под самой стеной бросили по монетке, а там уже было много, и детишки лет по пять, по шесть полоскали руки и затаенно хихикали. Родители их звали, но они не шли. Было их человек восемь и у многих — головки каштановые, не черные.

— Светлеют армянские дети, — сказал Сергей, — возвращается чистота предков. Будем надеяться, что это хороший знак.

Я не удерживаюсь от подначки:

— А может, это не предки, а даже совсем современники. К примеру, русские братья.

Сергей усмехается.

— Не думаю. Нет. Вряд ли. А впрочем... Ну тебя, знаешь.

На улице в ярком солнечном свете молодой красивый священник с молитвенником в руках бормочет над овцой, которую двое мужчин с трудом приволокли к нему за два закрученных рога. А на заднем дворе льется кровь по каменным плитам, дюжий старик в фартуке смывает ее шлангом, и она, разбавленная, с мутью и пеной стекает в канаву. На столе разделяют тушу барана, видимо, тоже вот так освященного, но существующего уже в будущем времени по отношению к той овце. Женщина моет руки под краном, а на лбу у нее — крест из крови, две пересекающиеся линии, небрежно проведенные пальцем. А внизу, в овраге у речки — еще более будущее время барана: там шум, песни, пляски и выкрики, играют аккордеон и какая-то дудка, и пахучий дым поднимается от мангала.

— Вот видишь, — говорит Сергей, — действительно, прав был Грант, все, как в библейские времена.

Я опять позволяю себе усомниться:

— Библейские? Быть может, скорее языческие?

— А это, знаешь, одно и то же. Языческое жертвоприношение, — но невидимому и единому Богу, вот тебе и весь древнееврейский пафос. „И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его...” Молодая религия отделялась овечками, это потом уже цена поднялась до великих страданий.

— Ты хочешь сказать, что армяне...

— Армяне тоже прошли все стадии, испытали всю гамму, и с лихвой, но, видишь, сохранили ритуал юности. Быть может, в этом если и не залог, то хотя бы намек на грядущее возрождение...

Мы спускаемся в неглубокое ущелье, переходим по камешкам реку и взбираемся на заросший кустарником холм. Олег-длинные ноги карабкается впереди. Мы взбираемся на вершину холма, там площадка, полянка и дерево, и оглядываемся отдышавшись. Красота фантастическая.

Мы находимся в центре, а вернее, в одном из фокусов, почти правильной эллиптической котловины. Огромные скалистые вершины окружают нас с трех сторон. Внизу под нами — монастырь и Храм, срощенные со скалами, выросшие из них. И все это вместе — как скульптура природы, где человек только чуточку, в одной только точке пространства подправил действие естественных сил, чтобы обозначить место своей встречи с Богом. Но на эту подправку положил он целую жизнь — тоже, впрочем, всего лишь точку во Времени... Откуда-то позади нас, из невидимой трещины между скалами, вытекает ре-

чушка и бежит вниз, к выходу из котловины. Вдоль реки — многочисленные дымы костров и мангалов, от ближайших доносится громкая музыка, но не магнитофоны и не приемники, а живая человеческая музыка: гармошки, дудки и, кажется, даже скрипка.

— Видишь, — говорит Сергей, — такая традиция. Среди них, быть может, нет ни одного верующего, но приехали они провести выходной с семьей и с компанией, не в ЦПКиО, не в ресторан и даже не просто в горы, а именно к Храму. Здесь опять — не скажу залог, но, быть может, намек, надежда...

Мы возвращаемся, разглядев сверху тропинку, но уж лучше бы мы о ней и не знали. Олег, по-прежнему идущий впереди, плюется и матерится, то и дело предупреждает нас об опасностях отнюдь не романтического свойства, в изобилии встречающихся по сторонам, а то и на самой тропинке.

— Гады, — ворчит он, — такую красоту испоганили. Вот тебе и намек и залог...

Мы еще заходим разок в церковь, у древнего старика с седой бородой покупаем цветные открытки с видом на Храм, с портретом католикоса и с фотографией замечательного хачкара, который проглядели в Эчмиадзине. Выходим, последний раз оглядываемся — и уходим вниз по дороге, текущей из-под прямоугольной арки.

До Гарни нам топать часа два, и нельзя сказать, чтобы мы не устали, а тем более не хотели есть. Старенький автобус, такой же, в каком нас возили по городу в поисках местожительства, догоняет нас, и мы машем руками. Автобус набит почти до отказа и, конечно, не остановится. Он останавливается. Пассажиры, все по виду крестьяне, какой-нибудь праздничный повод: перевыполнение, поощрение... Встречают радушно, даже порываются усту-

пить место, ну хоть взять на колени единственную нашу ничего не весящую сумку. И когда мы выходим, шофер, широкий парень в белой рубаше, с мощной коричневой шеей, отводит в сторону руку Олега с рублем, но охотно берет другой такой же из рук Сергея: „У гостя нельзя, — объясняет Сергей. — Я — свой, у меня можно”. И мне приятно думать, что у меня бы он тоже взял, если бы, конечно, я дал ему молча.

В Гарни после замечательного обеда в простой столовой — с вином, кебабами, виноградом и сыром, — мы продолжаем обязательную программу, идем осматривать языческий храм. Но смотрим в основном не его, а удивительной красоты ущелье, падающее вниз до немыслимой глубины, и там вдали, на самом дне, возвышается плоское плато, отсюда на вид совершенно ровное и как бы обрубленное со всех сторон, поросшее кустарником и травой. Там сказочная, изолированная от мира страна, там живут такие маленькие человечки, мы их отсюда не различаем, и в этом залог их покоя и счастья... А храм, что ж, ничего себе храмчик, аккуратненький, как из папье-маше. И как-то в землю не вросший, отдельный, как будто изготовили, привезли и поставили как газетный киоск — сверху, подъемным краном.

4

А еще мы ездили с Олегом в Дилижан, а ехать туда надо мимо Севана, и Севан, конечно, удивительное озеро, но в данном случае, признаюсь, получилось так, что литературный его портрет для меня оказался ярче оригинала. Я, правда, испытал некое тайное побуждение, но и оно восходило к литера-

турным данным. Я знал, что Севан непрерывно убывает, и мне захотелось немедленно что-то сделать, где-то в стороне зачерпнуть воды и добавить сюда хотя бы пригоршню, а главное — хоть немного смочить перешеек, чтобы полуостров Севан опять превратился в остров, как это было во времена Мандельштама и Кузина...

Потом мы приехали в Дилижан, прекрасный уютный маленький город, весь в горах, лесах и водах, и калымщик, возивший нас по окрестностям, утверждал, что это лучшее место в Армении. Но он вообще так много и громко разговаривал, то и дело отворачиваясь от баранки и тыча рукой то в меня, то в Олега, что стал главной и наиболее ощутимой подробностью этой поездки. И когда я теперь говорю себе „Дилижан”, то все, что я вижу при этом: россыпь друг над другом стоящих домиков, выглядывающих то частью стены, то коньком крыши из густой кучерявой зелени; извилистые лесные дороги над ручьями, под крышами, сквозь густую чащу; суровый монастырь на узкой террасе, далеко окруженный лесами, но не справа и слева, как это могло быть в России, а сверху и снизу; и затерянное в совершенной глуши озерцо, как прозрачная капля в чаше цветка, — все это я вижу как бы на заднем плане, сквозь круглую самодвольную рожу и уверенный голос этого парня.

Двадцать пять рублей за такую экскурсию — это не деньги, он берет тридцать и сорок, просто мы ему сразу понравились. Видит — хорошие люди. В Москве он не был, но был в Вологодской области, служил в армии шофером на грузовике, там и накопил на этот „Москвич”. Давали, сколько скажешь, куда им деться, на всю округу ни одной машины. Пять рублей — капитану, пять — себе, двадцать — капитану, двадцать — себе, всегда чест-

но, хотя кто его мог проверить? Но вот он такой человек. Хороший человек, прямой и честный. Но и с ним надо тоже прямо и честно, потому что его не проведешь. Правда, недавно случилась неприятность с братом. Брат тут был ни при чем, он только разнимал, но все разбежались, а он остался, а у него на рубахе кровь. Степан Варданян дал триста следователю, а им теперь надо дать пятьсот, и пятьсот прокурору, и пятьсот судье. Здесь, в Дилижане, да и во всей Армении, если денег нет, виноват — не виноват, садись в кутузку. Поэтому без денег здесь нельзя. У вас в Москве еще как-то извернуться можно, там, в Вологодской, такие бедные, ну совсем нищие — ничего, живут...

Вот все мои сведения о Дилижане.

И здесь, в Дилижане, в этом крохотном городке, в душной забегаловке у базара мы впервые увидели пьяных вдребадан мужиков в полном ничтожестве, в слюнях, соплях и кровоподтеках, все как положено. Мы случайно, не глядя, подсели за этот стол и тут же вылетели по касательной, и с ужасом услышали, как они нас окликнули, не очень внятно, но на чистом русском, если что-нибудь чистое могло от них исходить. Да, это были наши родные, целых трое, взяли друг друга, будто вместе вот так и прилетели из московской подворотни, только что там сойдясь и скинувшись, будто магическая сила какого-нибудь Воланда вырвала их оттуда и забросила сюда. И мы уже были у них на крючке, на неотвратимом бухом прицеле, и один из них полз, плыл, стелился к нам, перебирая руками, и вот уже тыкался в плечо Олега бесчувственными костяными пальцами, и дышал мерзостью ему в лицо, и что-то лепетал угрожающе-приветливое... Бедный Олег зашпешил на улицу, на ходу доглатывая свой кебаб, и потом мы долго сидели молча на автобусной оста-

новке, грызли груши, купленные на базаре, и сосредоточенно рассматривали каждую, прежде чем уку-
сить...

5

Я понял про себя: я плохой экскурсант. Какой бы ни представили мне экспонат, пусть обладающий бесспорной ценностью, я чувствую недостаточность своей реакции, отсутствие в душе должного отклика и, досадуя на себя, бросаюсь в другую крайность, и уже, бывает, пытаюсь выдать больше того, что имею. Вокруг знаменитых культурных ценностей, специально выставленных для обозрения, я никак не могу построить цельного образа, он всегда разрывается какой-то деталью, какой-нибудь неуместной подробностью, иногда — вызывающе неуместной.

Вот, казалось бы, наиболее чистый случай: *Матенадаран*. К этому зданию я давно пригляделся, и оно мне нравится. Общий стиль — ясный и ненавязчивый, и даже скульптуры не раздражают. А уж сама идея, что говорить, прекрасна: Институт рукописей и Музей рукописей. Главный музей великого народа. Говорят, что скульптура „Мать-Армения”, возвышающаяся надо всем городом, согласно первоначальному замыслу должна была вместо меча нести в руках огромную книгу. Но будто бы высшее начальство наотрез запретило такую вольность. Пусть, мол, армяне не будут умнее других, у всех меч, так пусть и у них меч... Но зато уж в Матенадаране — никакого оружия, а только книги и книги. И сперва мне, действительно, очень понравилось: такая древность — и такое разнообразие, такая полнота отражения всех сторон существования и всех

форм мышления. И миниатюры — просто редкостные таланты! Тут бы мне и уйти с этим впечатлением, так нет — я еще не все осмотрел. Походил еще, покружил, постоял — и сам не заметил, как заскучал, стал терять внимание, думать о всякой всячине, менее важной и не столь торжественной. Например: через несколько дней улетать, как там с билетами. Или того хуже: какие купить помидоры и куда положить, чтобы не смять и чтобы ничего не испачкали... Что написано в книгах, я все равно прочесть не могу, а только перебегаю глазами с одной на другую. Разве можно так смотреть книги. Вот взгляд куда-то уткнулся, задержался. Опомившись, я фокусирую зрение и неожиданно вижу еврейские буквы. Ну и что мне от этого. Я и их прочесть не могу. Зато я легко могу прочесть на стене в красивой рамке стихи по-русски, как объяснено, Саят-Нова. Нет, настоящего Саят-Нова, конечно, не прочту, и это плохо. Но что Саят-Нова не прочтет Валерия Брюсова — это, я считаю, большая его удача... Так, с сухими скорлупками брюсовских рифм на зубах и сожалением в душе я собираюсь покинуть этот уникальный музей. И только совершенно новая подробность примиряет меня с жизнью, хотя и уводит несколько в сторону. Замечательно красивая девушка, стройная, худенькая отличница возникает передо мной с указкой. „Пожалуйста, экскурсия на русском языке. Кто хочет, может послушать”. Как говорит! Вся — улыбка и вся — обаяние. И я прохожу все круги сначала, и у каждого стенда, расталкивая соседей, встаю прямо напротив нее. Нет, я ничего не желаю для себя персонально, мне хватает такого внимания: никому и всем... И запомнив едва лишь несколько слов, тем не менее, я выхожу на улицу в мечтательном стариковском уми-

ротворении. Платон, Филон, Торос, Хоренаци... Подумать, такая умница!

Но зато уж повседневный ереванский быт, не выставленный для специального обозрения, то и дело одаривает меня сверх меры. И даже традиционная армянская книжность, это кровное пристрастие к письменному слову, и тут находит свое выражение, и в самой необычной и трогательной форме.

— Асоян? Сергей? — переспрашивает Цогик Хореновна. — Не слышала. И что, настоящий писатель? Почему же он к вам никогда не заходит? Вы бы его пригласили поужинать, чаю попить.

Что-то промелькивает у нее в глазах, какое-то более резвое чувство, чем все те, которые, казалось бы, свойственны этой женщине. „Понятно, — говорю я себе, — она простой человек, а тут — писатель, любопытно, ясное дело”. „Нет, — говорю я себе, — ну глупость, ну не может же быть. Простое человеческое любопытство да плюс естественное радушие...”

И вот мы сидим за столом все вчетвером — Олег, я, Сергей и она, понемногу пьем чай с вареньем, отчасти смотрим телевизор, слегка разговариваем. В углу комнаты на таком же большом столе, по всей поверхности, разложена травка *реган*, сушится на зиму, пахнет приятно. Печенье, купленное мною три дня назад, уже тогда было жестким как камень, и теперь достигло железной твердости. Лязгнув о него зубами, я кладу его на блюдо. Олег ухитряется как-то разгрызть — здоровый мужик, а Сергей придумал макать в чай — хитрый армяшка, как сам он себя называет.

— А по-армянски вы понимаете? — спрашивает Сергея Цогик Хореновна.

Сергей отвечает ей по-армянски.

— А читать-писать тоже умеете?

Он, видимо, отвечает, что да, умеет.

И тогда она вдруг встает, идет к тумбочке, возвращается, отодвигает в сторону чашку и толстенную клеенчатую тетрадь кладет перед собой на стол и поглаживает руками. Я смотрю на Сергея, и все его чувства мне понятны так, как если бы он был я. Значит, все-таки именно так, именно э т о . Ну кто бы придумал такой анекдот? Впервые за три недели я не жалею, что не знаю армянского. Олег улыбается, он тоже понял, что воспоследует.

Но уж слишком много мы знаем о жизни, слишком умеем ее предугадывать; а она нет-нет да возьмет и повернет в неожиданном направлении.

— *Я собираю пословицы*, — произносит Цогик Хореновна, и невидимый слой окружающей нас реальности, плотный куб, заключенный в стенах этой комнаты, резко меняет состав и окраску.

— Я много лет собираю пословицы и поговорки и собрала уже тысячу двести штук.

В наших возгласах столько же облегчения, сколько удивления и восхищения.

— Мы с братом, — продолжает она. — Он тоже собирает, и мы обмениваемся, но я собрала гораздо больше.

— Где же вы их находите? — спрашивает Сергей.

— Везде. В деревне, когда бываю у родственников, в очереди, в трамвае. Еду и слушаю. Запоминаю, потом прихожу и записываю. И вот я думаю, как вы считаете, может это кому-нибудь пригодиться?

— Конечно, конечно, — радуется Сергей. — Это же какая огромная работа! Если из этих тысячи двухсот хотя бы сотня окажется неопубликованных — любой фольклорист за голову схватится.

— Ну почитайте немного, почитайте. — Она подо-

двигает к нему тетрадь. Там под номерами выписаны аккуратные строчки, одна-две под каждым номером. Буковки с четким наклоном, отдельные, как в той х о р о ш е й рукописи у Гранта. Сергей читает, кивает, гмыкает.

— Вы знаете, просто очень интересно. Ну, я, конечно, не специалист. Тут пока в основном довольно известные (это он мне), но, кажется, есть и оригинальные. Во всяком случае, раз их так много, то и надо читать все подряд, но это я вам пришлю специалиста.

Цогик Хореновна сдержанно улыбается, ее природный такт не позволяет ей радоваться слишком громко, а тем более какое-то выражать самодовольство.

— Хорошо, — говорит она, — пришлите, пожалуйста, жалко, чтобы это все пропадало. Народная мудрость, надо хранить...

— Ну, как тебе? — спрашивает Сергей, когда мы выходим на улицу. — Часто такое встретишь в России? И главное, брат ее тоже, и они соревнуются — такая деталь!

6

Мы богаты с Олегом, мы сказочно богаты. Из позорной бедности, из подлого нищенства мы чудом, как и полагается на Востоке, переходим в разряд благородных негоциантов. Мы сдаем прибор в химиконическом, мы показываем Камсарычу и Акопу последние контрольные графики, аккуратные, с запасом уложенные в допуски — и нам крепко жмут руки, и благодарят от души, и вручают не какие-то бумажки с печатями, а настоящие, живые, хрустящие по двести пятьдесят на брата. Это значит,

что несколько оставшихся дней мы можем не думать о каждой копейке, не мучиться: просить — не просить у наших домашних, приводить ли в движение их самоотверженность в этом сомнительном направлении или дать ей выразиться как-то иначе? Это значит, что сами мы получаем возможность о д а р и в а т ь — счастливейшую, лучшую из возможностей. Мы пройдемся по улицам, не минуя ни одного магазина, мы накупим подарков детям, женам и матерям, мы зайдем к Норикку в Био-гео и скажем: „Ладно, ничего, не огорчайся, Норик, это даже к лучшему. Утрясешь свои дела, найдешь место прибору, вызовешь нас, мы приедем еще с большим удовольствием. А пока, Норик, не обижай, возьми деньги для твоей мамы, она сама ни за что не возьмет, а ведь ей необходимо, а нам платят, нам очень много платят специально за жилье, так что же, мы эти деньги будем присваивать, обманывать родной завод?“ И Норик покраснеет и скажет: „Спасибо, ребята. Ни за что бы не взял, это очень стыдно, но нет у меня никаких побочных доходов, а маме нужно делать ремонт, я еще немного добавлю — как раз и хватит...“ А потом мы пойдем на базар, накупим вина, овощей и мяса, позвоним на работу Володе и домой Сергею и устроим маленький пир на маленький мир. И будем пить прекрасное дешевое вино по очереди за здоровье всех присутствующих, и будем есть хороший армянский шашлык, в котором главное не мясо, а смесь овощей, обожженных, пахнущих дымом и маслом. Московские гости дали ужин в честь своих армянских друзей. Красиво. И от чего порой зависит гармония — от наличия жалкой тридцатки.

И вот наступил самый последний день. Уложены вещи, закрыты чемоданы. Бачок в холщевой сумке

по горло залит вином, которое Володе достал по благу большой друг его начальника. В Москве его придется вылить — скисшее, совершенно никуда негодное. Но пока еще до этого далеко. Олегов специальный ящик впритирку набит гранатами. В Москве его чуть не прогонят из дому, в семье никто не любит гранаты, а два таких же примерно ящика он уже посылал по почте. Все готово к отъезду, и самый последний вечер я провожу в узком семейном кругу. Семейный круг сегодня опять, как и в первый раз, перенесен в квартиру родителей Ани, но сами они уехали в Кировакан, и мы как у себя дома. Девочка спит в соседней отдельной комнате. Мельтешит телевизор. Сидя рядом с ним почти вплотную к экрану, чтоб не мешали, смотрит футбол железный Мартик, жених Аниной сестры Веры. Он чемпион страны по прыжкам в воду, юный обладатель трехкомнатной квартиры и двухсот восьмидесяти рублей стипендии, в свои неполных девятнадцать лет — человек твердых жизненных принципов и ясных целей. Сама Вера, тонкая, гибкая, томная сидит у его ног на низеньком пуфике, длинными руками обнимает его руку, гладит его ладонь прозрачными пальцами с двухцветным красно-зеленым маникюром, нежной щечкой с упавшей прядкой прижимается к массивному его плечу. Железный Мартик — так его называет Володя — „болеет” спокойно и уравновешенно, в промежутках между острыми моментами игры рассказывает нам, как футболисты „Арарата” спекулируют машинами и заграничными шмотками, кто из ЦК кому из них покровительствует и как они выкручиваются, когда попадают. Володя что-то фыркает в его сторону, Аня посмеивается добродушно. Свадьба давно уже решена, но отложена лишь по каким-то внешним причинам,

чуть ли не из-за модных колец. Я то сажусь на диван, то встаю и хожу по комнате и все кошусь на красный телефонный аппарат, иногда, не удержавшись, обвожу его рукой по контуру и поглаживаю в томлении, как Вера Мартика.

Мне хочется позвонить Гранту.

Мне смертельно хочется ему позвонить, потому что без этого последнего звонка здешняя моя жизнь лишена композиции, главной завершающей точки, на которой строится вся гармония этой поездки. Мне хочется ему позвонить, потому что Армения для меня — это в первую очередь он, Грант, и с кем же еще мне прощаться, прощаясь с Арменией? И еще потому, что нипочему, по причине любви, родства и душевной тяги. И вот я снимаю трубку, набираю номер, и мне отвечает женский голос, оторопевший и скованный от неожиданности, от неподготовленности к иноязычной речи, его сменяет другой голос, тоже женский, тоже немеющий, затем, после долгих неловких объяснений, когда я говорю по-русски едва ли правильнее, чем они, я слышу голос Гранта: „Да. Алло”. И не чувствую уже никакого настроения, и жиденьким неубедительным голосом говорю только: „Здравствуй. Вот уезжаю. До свиданья”. — „До свиданья, — говорит он. — Хорошо. Передай привет”. — „До свиданья, — говорю я, — всего тебе доброго”. — „Всего доброго, — говорит он. — Хорошо. До свиданья”. — И вежливо не кладет трубку. Я понимаю и кладу первый.

Все это я проигрываю в своем воображении с отчетливостью безусловного действия, с полной уверенностью, что будет именно так, и даже в мельчайших деталях. И поэтому мне вовсе не надо звонить. Да просто ни в коем случае. Я и не буду. Но желание разговора, родства, понимания, но томление

мое остается. Так хотелось бы мне наполнить смыслом и чувством этот последний вечер.

Вера и Мартик тихо воркуют, и хорошо, что не надо прислушиваться, делая вид, что не слышишь, и не надо мучительно достраивать фразу по двум разобщенным словам, и можно просто смотреть, умиляться, завидовать... (Я узнаю потом через год, что свадьба расстроилась, что про Мартика ничего неизвестно, что у Веры другой жених, русский парень из Минска.)

— Ну-ка, вставай, — говорит Володя, внимательно так на меня посмотрев, — давай мы с тобой слегка проедемся, я тебе кое-что покажу.

7

Мы выходим из троллейбуса на Киевлян — Киевской улице. Мы проходим по мосту через Раздан — глубокое ущелье и быстрая река далеко внизу, и крохотные моторки мотаются на приколе — и начинаем подъем в гору по пологой тропинке. Кругом лес, или, может быть, роща, и глухая тревожная темнота.

— Куда это мы, Сусанин?

— Увидишь.

Подъем кончается и кончается лес, большое плато, но по краю — опять кусты и деревья, никаких строений и никакого света, кроме звезд, луны и невидимого города за горизонтом. Тропинка то ли есть, то ли нет ее, неровности, рытвины. Володя поддерживает меня под руку, но вдруг отпускает, и я чувствую под ногами ровную дорогу, то ли асфальт, то ли бетон. Я все еще по инерции смотрю себе под ноги, так мы проходим с десятков метров, и вдруг Володя говорит: „Оглянись!“ Я огляды-

ваюсь и цепенею. Два ряда тусклых огней, целое погребальное шествие сопровождает нас на нашем пути. Фонари неподвижны, согнуты в низком поклоне, намного ниже человеческого роста, и обращены не к дороге, а прочь от нее, ничего по сути не освещая, но образуя контур пути, скорбный его пунктир.

— Это путь к памятнику жертвам резни, — тихо говорит Володя. — Сейчас мы к нему придем.

Так мы идем еще какое-то время, и печальное шествие позади и впереди сопровождает нас и выводит к каменной площади, на которой взлетают в небо два каменных острия, а вернее — одно, расслоенное тонкой узкой полоской света на две неравные части. Одна из них выше, другая ниже. А дальше двенадцать каменных глыб под таким углом, что едва не падают, нависают по кругу над вечным огнем. Самого огня не видно, он в центре, внутри под этими глыбами, едва не задавлен их страшной тяжестью, но багровые отсветы пламени живут на ребрах и гранях, и от этого весь хоровод огромных камней выглядит тоже зловеще-живым и тяжело-подвижным...

Я должен признаться — не люблю памятников. Ни памятников событиям, ни памятников людям. Я не говорю о памятниках вождям, это уже тема для анекдотов, но даже, скажем, писателям и даже королям. Тут отчасти срабатывает логика дня, общий принцип нашего быта, где достойный, как правило, не отмечен, а отмеченный, как правило, недостойн. Если есть, к примеру, памятник Маяковскому, но нет памятника Мандельштаму, есть Фадееву и нет Булгакову, будет Федину и не будет Набокову — то, что хорошего вообще мы можем сказать о памятниках. Только пожелать, чтобы и

впредь их не ставили порядочным людям. Но дело не только в этом. Сам принцип ставить на площади каменную копию определенного человека есть, по моему, грубое вмешательство в функцию памяти и свойства времени, и библейский закон не творить кумира кажется мне здесь совершенно уместным. Сам по себе выбор имени: кому ставить, кому не ставить — даже в случае предельного единомыслия — будет все же принуждением и навязыванием, насилием над свободой оценок и мнений. Памятнику ведь нельзя возражать, он бесспорен и потому безнравствен. Всякий памятник унижает мое достоинство как рядового человека и гражданина, и любой, даже самый безобидный, смешно сказать, страшен мне, как Евгению Медный Всадник. Любой, даже памятник самому Пушкину. Скульптурный портрет не имеет большой образной емкости, но скульптура на площади — это антиобраз, она давит чувство и воображение своей безоговорочной определенностью, тяжелой конкретностью, однозначным наличием.

И с той поры, когда случилось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.

Не люблю и боюсь.

Из всех памятников Еревана мне, пожалуй, показался забавным один — архитектору Томаняну. В скверике перед бассейном с фонтанами помещен огромный стол из светло-серого камня, а на него широко расставленными руками опирается такой

же светло-серый старик. Согнулся над столом, наклонил голову, смотрит вопросительно и хитро. „А, этот! — сказал Володя. — Да, хороший. Это памятник Рафику”. — „Что, Томаняна звали Рафиком?” „Нет, Томаняна звали иначе. Рафик — это был буфетчик на вокзале, известный богач. Рассказывают, что после его смерти безутешные родственники узнали о готовящемся памятнике Томаняну, заплатили скульптору сколько-то там десятков или сотен тысяч, и он сделал Томаняна с лицом Рафика и поставил на площади этот общий памятник”.

Я просто в восторг пришел от этой легенды, она была талантливее самой скульптуры, она была многозначна как притча, в ней просматривался глубочайший смысл. Именно так: прославленный архитектор, автор Дома Правительства на площади Ленина — и делегата-буфетчик с вокзальной площади. Пускай им общим памятником будет... Все правильно. Хитрая рожа буфетчика Рафика — вот подлинное лицо рукотворного бессмертия.

Но и памятники событиям, мемориалы тоже не вызывают у меня симпатии. Тут я, быть может, не против принципа, но опять же — как быть с выбором? Мало того, что история так перевернута, что просто непонятно, что было, чего не было, но ведь и то, о чем точно известно: было — не всегда знаешь, как оценить. И остаются только явные трагедии, но и тут я не помню достойных и честных примеров, когда бы в памятнике содержалась хоть доля чувства, которое вызывает сама трагедия. А тогда — на чёрта он нужен? Бессмысленная куча мала с циничной надписью в Бабьем Яру. Или все эти могилы неизвестных солдат, вызывающие вместо сочувствия людским страданиям только при-

вычный страх перед часовыми да шальную мысль о вечном огне: а что, если выключат газ...

И вот я впервые вижу памятник, который меня потрясает.

В нем нет попытки изобразить события, потому что не было никаких событий, потому что не таким человеческим словом называется то, что стряслось с армянами. В нем нет рассказа, потому что он невозможен, потому что никакая система из металла и камня, ограниченная в материале, времени и пространстве, не в силах рассказать о двух миллионах изувеченных и замученных насмерть людей.

В нем нет никакой прямой символики, ни имени скорби, ни даже попытки ее назвать, но есть ощущение скорби.

Никаких боящихся сморгнуть часовых, никаких ракурсов и дистанций, никакой театральности. Можно обойти вокруг, подойти вплотную, потрогать камень, спуститься вниз в широкую щель между соседними глыбами, там для этого есть ступеньки, походить внутри, погреться у пламени, посмотреть вверх на темное небо, ограниченное зазубренным кругом гигантских плит, тяжело нависающих под таким углом, что едва не падают, — и тут же поспешно опустить голову и вцепиться взглядом в спасительные ступеньки. Нет, это только памятник, нам сейчас ничего не грозит. Но все время, постоянно, всюду: смотришь ли издали, ходишь вокруг, стоишь ли внутри — всюду с тобой это чувство — страха и скорби.

Мы пришли сюда зная, чему посвящен этот памятник, он и предназначен для тех, кто знает, и поэтому надписей тоже — нет никаких.

Мы выходим на край площадки, и теплое разли-

ванное море огней обнимает нас с трех сторон. Это светится город, где живут оставшиеся в живых. Пусть будут спокойны и счастливы, пусть будут хоть эти!..

И тут я впервые понимаю отчетливо, прямо в сердце укалывает меня эта мысль, в чем подлинная суть родства между мной и ими, того родства, о котором мне столько раз пытались сказать армяне, и которое я сам чувствую в себе постоянно. Нет, не древние культуры, разве знатность происхождения может служить основой любви? И не национальная обособленность, откуда она у меня, никогда не бывало. Нет, главное здесь в другом: духовное родство оставшихся в живых. Естественная близость и понимание, и взаимное утешение все потерявших, но оставленных Богом жить для какой-то Ему лишь ведомой цели. Это близость и родственность Иова—Иову, это притяжение сироты к сироте. Два миллиона армян и шесть миллионов евреев, разные цифры — и одна цифра: две трети населения и там и тут*. Как если убили отца и мать и остался один на свете — такие же были бы цифры. Или если... Но это и произнести невозможно. Кровь и величайшие в мире несчастья роднят евреев с армянами, как не могут роднить никакие блага. Ах, не будем касаться, хватит и сколько можно, и опять за свое... Опять за свое, а за чье же. Все так и, тем не менее, все не так, потому что это не только мое, это общее наше с вами, всех без разбора. Отвлеченный тезис о том, что нельзя ненавидеть нацию в наше время, в двух, по крайней мере, случаях показал пример зловещей материальности. Нет, не только в действиях мы несвободны,

* Я имею в виду европейских евреев и „армянских” армян.

поздно рассуждать о свободе, когда начинаются действия, мы несвободны и в чувствах своих и в своих побуждениях — изначально не дано нам такой свободы. И слово — тем более слово — не должно уходить из-под зоркого ока совести. Слову свойственно овеществляться, недаром еще в древности мудрые цадики избегали предсказывать дурные события. Ибо, говорили они, само предсказание может повлечь и приблизить несчастье. И поэтому если кто-то сказал: „Ненавижу армян”, то он не просто дурак и не просто подонок, — он преступник, и кровь армянских детей на его руках. И так же, если кто-то сказал о евреях, но так же — если о русских или других. Потому что трагедия первых двух показала, что все мы, независимо от желания, можем быть отнесены к какой-то группе, все принадлежим, и значит, — все под угрозой...

„Господи, благослови евреев!” — опомнился перед смертью замечательный Розанов, много перед тем проклинавший евреев. И мудро добавил: „Благослови и русских!”

Я стою на краю площадки, высоко над городом, и таким важным и значащим вышло само собой это место: позади меня — боль и трагедия нации, впереди — ее повседневная жизнь... И кажется мне, что только теперь я всерьез почувствовал и понял Армению, которую, по сути, и не увидел. Сколько надо прожить в чужой стране, чтобы ее узнать? День, неделю, месяц, год? И года может оказаться мало, и дня может оказаться много. Я думаю, нужно ровно столько, сколько нужно, чтобы — полюбить. Поживи я подольше, узнай побольше, быть может, неизбежные досадные мелочи заслонили бы от меня знание чувства — единственное подлинное знание...

Завтра я улечу на север, в нашу прозу с ее бе-

зобразим, в осеннюю, уже заснеженную Москву, к своим близким и к возлюбленному своему начальству. Мы будем отчитываться с Олегом, совать бумажки, приводить доказательства, а потом начнет повседневная жизнь, и за какой-нибудь год ударной работы, неуклонно повышая, а также снижая, экономя средства и материалы и используя внутренние резервы, я выделю себе несколько подпольных месяцев, когда смогу по три-четыре часа в рабочее утро посидеть за машинкой, обдумать все, что увидел, и все, что почувствовал, и, быть может, попытаться как-то об этом сказать.

И я уже слышу готовый упрек, к счастью, не мне одному адресованный и уже становящийся традиционным: где Армения? нет Армении.

А ее ведь и нет, Армении, вот в чем дело. Нет Армении, как нет и России. Есть любовь к Армении и тоска по Армении, как есть любовь и тоска по России. А дома и улицы, и даже леса и горы — это только ориентиры, точки привязки. Любовь к родине и тоска по родине — это и есть сама родина, не предметы, на которые направлены чувства, а сами чувства — любовь и тоска. Абсолютно прав был Грант Матевосян: и то не Армения, и это не Армения, но любовь самого Матевосяна к Армении и тоска по ней — это и есть Армения, и она более реальна, чем дома и леса, потому что она неизменна и вечна.

Конечно, мое отношение иное. Нельзя любить чужую страну, как свою. Но, скажу я, нельзя любить и свою, как чужую. А нуждаемся мы и в той и в другой любви, и еще неизвестно, какая для нас важнее. Потребность любить другой народ так же естественна в нас, как потребность любить другого человека. И так же мы здесь лишены возможности выбора, а любим — потому что любим...

Я всегда любил Армению и всегда тосковал по

Армении. То была воображенная мною страна, щедрая, мужественная и счастливая, и такой она для меня и осталась, и такой будет всегда, вне зависимости от зримого соответствия. Но эта моя Армения до сих пор пустовала: только два-три имени, только три-четыре названия. Теперь я ее заселил и заполнил жизнью. Я пробыл здесь не много, не мало, но достаточно, чтобы полюбить *армян* — конкретных живых людей, с именами и лицами, а также многих других, которых мне теперь легко представить.

Что сказать мне о них в заключение? Разве только повторить еще раз чужую простую мудрость: „Они не лучше и не хуже других народов, но я люблю их чуточку больше других...”

Виолетта ИВЕРНИ

Каждый равен своему выбору...

Последняя книга Владимира Максимова „Ковчег для незваных” — естественное продолжение его предыдущих книг. Мы не встречаем в ней знакомых героев — не этим она напоминает нам прежние максимовские повести. Она оставляет впечатление того, что автор с самого начала творчества своего мучается одной и той же темой, и тем еще мучается, что как будто бы не сумел сказать о ней все до конца, что-то осталось темным, не очерченным с достаточной ясностью, поэтому он ощущает в себе некий внутренний позыв — долг, не дающий забыть и переключиться на иные стороны, полосы реальности. Эта мучающая Максимова тема — ухабы, по которым трясет человеческую душу в течение не только реальной физической жизни, но и жизни предыдущих поколений, вина которых падает на головы детей и внуков, вне зависимости от того, осознают они это или нет, принимают или нет — вина эта фатальна, ибо все в мире связано между собой нравственными узами.

Ковчегом для незваных на самый первый и прямой взгляд Максимов называет длинный эшелон с завербованными на Курилы, едущими из Цент-

В. М а к с и м о в . Ковчег для незваных. — Франкфурт-на-Майне: „Посев”, 1979.

ральной России с насиженных мест, от своих корней, дома, могил, от прошлого, — чтобы поймать удачу, пристроиться, — за длинным рублем, проще говоря. Но этим поездом,двигающимся медленно, по-черепашьи, по забитым, в хаосе неразберихи рельсам послевоенной страны, на самом деле не ограничивается ковчег. И незваные, по Максимову, — это не только обойденные судьбой, несчастные, мучущиеся в поисках маленького и вечно ускользающего счастья, но и те, кто самозванно определили себя хозяевами страны, хозяевами судеб всех этих вырванных из своей земли людей, всей этой бесконечной дали, отрезанной от мира железными границами.

Мы встречаем в романе людей, стоящих на самых разных уровнях иерархической лестницы: от Сталина — до только что отвоевавшего простого солдата Федора Самохина, от только что назначенного начальника главка Ильи Золотарева — до кадровика Михаила Пекарева, подозрительного и пронизательного горбуна, всю жизнь проработавшего в органах, которого сам Золотарев втайне побаивается и который ходит за ним по пятам всезнающим бесом.

И весь этот сонм людей — ибо сквозь названных и фигурирующих в романе в той или иной степени важности персонажей проглядывает бесконечное море человеческих судеб, маячат толпы расплывающихся лиц — все они находятся в огромном ковчеге, который представляет собой уклад, закон, форму существования этой страны. В этом смысле Максимов и употребляет выражение „ковчег для незваных”. И в романе своем он идет, что называется, доказательством от противного: вначале дает определение, а затем всем романом, его композицией, взаимоотношениями между персонажами, построением сюжетных линий ставит себе задачу дока-

зять правильность этого определения. Он старается показать, что такого рода уклад, такого рода организация жизни общества и государства, какие сложились в СССР после революции, не могут быть ничем, кроме ковчега для незваных; ибо на то они рассчитаны, на то только и может работать такая организация, такой режим. И даже если в изначальном замысле его не было злой воли, а была всего лишь человеческая ошибка, то это не меняет результата: только незваных — то есть насильно и цинично захватывающих себе место под солнцем — может этот режим вызывать к жизни и действию. Что касается остальных — то есть тех, кто по социальному своему положению стоит слишком низко, чтобы влиять на судьбы страны, то и они не остаются чистыми, ибо каждый из них так или иначе становится причастен к общему падению, каждый хоть раз в жизни должен был сделать свой выбор сам, и от выбора этого, каким бы мелким и незначительным он ни казался, зависит степень повязанности маленького человека общей виной. И вся машина, отлаженная и безукоризненно работающая (а иногда в хаосе кажется, что она скрипит, что она дезорганизована и деморализована, но это только иллюзия из самых опасных), вся эта машина работает для того, чтобы каждого втянуть, никого не оставить змеиным своим вниманием, никому не позволить остаться с чистыми руками.

Отошедшие к Советскому Союзу после победы над Германией и Японией Курильские острова спешно заселяются разным людом; в основном, это жители Центральной России, разрушенной войной, которым пообещали золотые горы. Но не только они переселяются на Курилы: близлежащие лагеря гонят туда свой „контингент”. Оттого, что лагерей в этой части страны — на Дальнем Востоке —

больше, чем свободных поселений, жуткое слово „контингент”, в котором бюрократическая лаконичность подчеркивает абсолютную и полную обесцененность человеческой личности, переключивается с заключенных на всех людей вообще. Тот самый кадровик Пекарев, что бесом вьется вокруг начальника главка Золотарева, то стелясь заискивающе, то угрожающе намекая на то, что ему о начальстве известно, не называет переселенцев иначе как контингентом. И так получается, что в понятие это входят не только завербованные из России или бежавшие сюда от судебной расправы, но и то самое высокое московское начальство в лице Ильи Золотарева, и — даже выше можно брать — начальство над начальством, пока что сидящее в министерствах и цековских кабинетах, но в любой момент могущее попасть в число самых обездоленных и обезличенных — в число зэков. Так что грань между сильными мира сего и теми, кто превратился в пыль, в навоз, под ногами этих сильных, — колеблющаяся, неверная, призрачная. Простой солдат, работяга Федор Самохин не раз слышит о том, как маршалы, генералы, бывшие вершители судеб страны, доходили в лагерях, на лагерных помойках ковыряли отбросы, скулили по-собачьи или безразлично затихали, ожидая смерти. Таким образом, все — сверху донизу — оказываются словно прикованными к гигантскому невидимому колесу, которое поворотом своим одних возносит наверх, других отправляет вниз, и следующим же взмахом может поменять их местами — если протасненные низом еще не раздавлены. Так что все они — весь огромный народ этой страны — всего только контингент для этого мясорубочного, не останавливающегося колеса, раз и навсегда запущенного. И в этой оцепленной колючей проволокой стране каждому человеку, какое бы

место он ни занимал, мерещится один и тот же призрак: колючка, приблизившаяся вплотную, к самым глазам, — колючка, сужающая Большую зону до размеров просто зоны лагеря номер такой-то. Страх этот постоянно чувствует в себе Золотарев, страх этот явственно виден на лице Министра, сопровождающего его на прием к Сталину; тот же страх мучит и преданного сталинского секретаря (Максимов в романе не называет его имени, но ясно, что речь идет о Поскребышеве); и даже всеильный сталинский временщик — Берия — отнюдь не всегда чувствует себя уютно. А сам Сталин? И у него есть свои страхи. Он, разумеется, не страшится колючей проволоки, но тем не менее страх его немногим отличается от того, который мучит его подданных: он боится предательства, он никому не доверяет, он постоянно наполнен горечью и обидой, которой далеко не всегда есть название, но которая ощущается им физически, не отпускает и постоянно преследует — недомоганием ли, или воспоминанием, или внезапно попавшим в орбиту его взгляда лицом, в котором ему видится всезатопляющая и неистребимая ненависть.

Таким образом Максимов связывает в своем романе Историю не только и, быть может, не столько с лицами реально историческими — такими, как Сталин, Берия, Поскребышев, — которых только и видят историки как авторов и двигатели, пружины исторического процесса; он связывает историю с каждым отдельным своим персонажем, с его волей, характером, сделанным выбором, и делает это посредством самого приема изначальной связанности всех — белым листом судьбы при рождении, необходимостью выбора в зрелости, общей подверженностью страху, горечи и раскаянию, одинаково всем

свойственной слабости, но разной степени способности эту слабость преодолеть.

Максимов не вводит в повествование каких бы то ни было сцен, диалогов, столкновений политического или идеологического характера. Более того, — он не вводит даже никаких элементов идеологии, за исключением общепринятых и заученных фразеологических клише, которые сами по себе являясь производным от идеологических постулатов и догм, мертворожденными их детьми, идеологию представляют только косвенно. Таким образом писатель обнаруживает явственное стремление уйти прочь от лежащей на поверхности возможности выступить с *негативных* позиций, с позиций *отрицания* идеологии. Он ее не отрицает, ибо он ее не рассматривает. Он ее не рассматривает, ибо он из нее не исходит как из изначального зла. Он из нее не исходит, ибо вообще не считает ее изначальной, а в свою очередь производной. Он откровенно игнорирует идеологию, ибо считает ее всего только одной из формул, в которую выливается грех человеческой гордыни, попыткой оправдания этой гордыни, предложением и лазейкой для зла как такового. Поэтому свой надрез общества Максимов строит с помощью единственного скальпеля: с помощью законов нравственных, не зависящих ни в какой мере от формы организации общества, то есть от государственного режима. И с этой именно меркой подходит он ко всем персонажам, от Сталина до Федора Самохина.

Любая попытка ввести в художественное произведение лицо историческое, да еще такого рода, как Сталин, очень опасна для писателя тем, что может потянуть его на изображение схемы. Естественно, что люди, не знавшие такого человека лично (а кто мог знать Сталина лично?), строят образ его задним числом, исходя из результатов его деятельности, ко-

торая не может не сливаться с деятельностью всего государственного аппарата и, таким образом, теряет свою персонализированность, свою конкретную принадлежность живому лицу. Но тот аспект, в котором рассматривает Максимов своих героев, дает ему возможность заострить свое внимание не на похожести или непохожести исторических лиц на их реальные прототипы, а на их нравственной позиции, на выборе, который каждый из них однажды должен был сделать в жизни. Несомненно, он использует в своем романе то, что рассказывали о Сталине немногие, его видевшие: о его внешности, манере ходить и говорить, о его любви к жестоким мистификациям, к маленьким, жутким спектаклям, неизменным режиссером и автором которых он был и на которых как бы отработывал свое мастерство, виртуозность, изощренность и цинизм, которые необходимы ему были для основного — огромного — спектакля, сценой которого была одна шестая земной суши, самая большая в мире страна, а актерами — люди этой страны. В мире все называли ее великой державой, она только что выиграла тяжелую и кровавую войну, но народ этой страны-победительницы невидимо и неведомо для всего мира оказался самым несчастным из побежденных, он обречен был играть роль в том страшном спектакле, режиссером которого был Сталин. Но, как я уже говорила выше, Владимир Максимов отнюдь не показывает Сталина как источник зла, как не показывает он его и титаном, из ряда вон выходящей личностью. Волею судеб этот человек оказался у руля, и несомненно, для того, чтобы достигнуть этого, ему нужно было обладать определенными качествами и хваткой, но качества эти не заключают в себе ничего сверхчеловеческого, ничего таинственно-мистического, ничего провидчески-неземного. Гека-

томбы смертей, тучи зла, отягощающего совесть этого человека, часто толкали людей представлять его фигуру недостижимо огромной, ибо человеку трудно поверить, что такой масштаб, размах преступлений может быть развернут обыкновенной человеческой рукой. Максимов отказывает Сталину в величии — в величии вообще, в том числе и величии Зла. Он дает нам понять, что этот человек — не крупнее, не глубже, не мудрее других — просто однажды пошел дорогой, на которой не было места любви и жалости к ближнему. И опять-таки — не особенное это качество, не романтический демонизм: каждый стоит хоть раз перед выбором между любовью и фетишем, между теплом живой жизни и отвлеченным, но ослепительным блеском идеи; между глубиной познания и высотой лестницы, возносящей одного над всеми. И не имеет ни малейшего значения, правдивы или нет легенды об униженности Сталина в детстве сплетнями о его матери, о его собственном рождении, которые Максимов использует в романе. Если это только легенда, то и это само по себе свидетельствует о безошибочности фольклорного творчества, которое видит источник тщеславия, честолюбия, карьеризма, самообожествления в давнем и застарелом, как болезнь, комплексе неполноценности, в желании отомстить за прошлые унижения, так что в конечном счете борьба классов, борьба за освобождение угнетенных незаметным и естественным образом начинает сводиться к простой мстительности всем и вся.

Один из главных героев романа Максимова — Илья Золотарев, которого мы видим в роли начальника вновь созданного главка сначала в Москве, а затем на Курилах, проходит, в сущности, тот же путь, что и Сталин. Он был сыном бедных родителей, семью его презирала вся деревня, и, раз навсег-

да освободившись от родных мест, от односельчан и родственников, он радостно пошел навстречу карьере, которую открывала перед ним его незапятнанная и более чем удобная анкета. Он хотел взлететь наверх вопреки всем, кто презирал его пьяницу-отца, кто колотил его в школе, кто издевался над ним. Правда, по дороге ему пришлось отправить в лагерь неповинных людей, но уже не властвовал над своей судьбой, он уже выбрал.

И Федор Самохин, никак уже не причастный к вершению судеб и никого в жизни своей не предавший, был однажды простым свидетелем драки, но не вмешался, не прекратил, не отвратил убийства человека, не спас невинного — и это он сам не может не зачислить себе в грех, в вину. И весь этот ковчег — вся страна — неминуемо движется к страшному, к катастрофе. Материально в романе она воплощена землетрясением на Курилах, в котором гибнет Золотарев и еще множество людей, поехавших за длинным рублем, поверивших в посулы, оторвавшихся от корней. Катастрофа эта символизирует крушение несправедного пути, неминуемую гибель несправедного дела. Книгой своей Максимов говорит нам о неминуемой причастности каждого к тому, что происходит со всеми, с народом, со страной. Каждый равен своему пути, своему выбору, настаивает писатель. Каждый ответствен за себя, каждого ждет плата и расплата, муки и крушение, как и радость раскаянья, как и радость добра, открытого каждому, кто готов протянуть к нему руки.

Советские переводчики болгарской поэзии

Веселин Ханчев на русском языке

Мне уже приходилось писать о том, что советские чиновники от литературы, в руках которых сосредоточено переводческое дело, относятся к переводу с языков так называемых братских народов не только не по-братски, а прямо-таки поразбойничьи: по их настояниям или при их попустительстве произвольно меняются финалы повестей и ритмы стихотворений, „уточняются” драматургические ходы пьес и переживания лирических героев... Написание „переводчиком” собственного стихотворения на тему подлинника — отнюдь не редкий способ „воспроизведения подлинника”.

Особенно скверно обстоит дело с русскими переводами таких близких литератур, как украинская, белорусская и болгарская. Именно здесь, где переводчик может добиться поразительного результата в воспроизведении всех (или почти всех) особенностей подлинника, подвизается больше всего „поэтов-переводчиков”, не знающих ни языка, с которого они переводят, ни поэзии, с которой они взялись познакомить своих соотечественников, ни ха-

Стихи В. Ханчева (в переводе А. Опульского) см. в „Г р а н я х” № 113, 1979. — Р е д .

рактера и жизни народов, которые отражены в переводимых ими произведениях.

Возмутительная ненормальность этого положения официально оправдывается несколькими надуманными причинами, настоящую же причину я услышал как-то от одного из редакторов, разоткровенничавшегося за ресторанным столиком. „Современная болгарская поэзия, — сказал он полушутя, — так же похожа на современную украинскую (или русскую, или иную какую братскую поэзию), как дома-новостройки в Софии на дома-новостройки в Минске, или еще где: теперь все типовое — и навесы над входной дверью, и абажур в комнате, и патриотизм в лирике. Так что дело переводчика значительно упростилось”.

Он был бы прав, если бы вся поэзия была „типовой”: для ее перевода достаточно минимума поэтических клише. Недаром многие мастера советской „типовой поэзии” легко стали и переводчиками такой же типовой иноязычной поэзии. Но дело в том, что не вся поэзия, которую переводят „типовая”.

А под пером иных переводчиков и настоящие поэты становились „типовыми”. Особенно активны были „ типовые переводчики” в конце второй мировой войны, так что к середине 50-х годов русский любитель поэзии мог убедиться, сколь одинаковы все восточнославянские (да и восточноевропейские, пожалуй) поэты.

Только если поэт переводился много и различными переводчиками, русские читатели получали возможность догадаться если не об истинном облике иноязычного поэта, то хотя бы о том, что его истинный облик им неизвестен.

Из болгарских поэтов нового времени таким поэтом оказался Веселин Ханчев — его переводили и много, и различные переводчики. На русском языке

существует более 70 стихотворений В. Ханчева, ряд из которых в двух, в трех и даже в четырех поэтических интерпретациях; некоторые переводы печатались не один раз.

Именно благодаря такой обширности русской ханчевианы, да еще потому, что Веселин Ханчев — самый крупный поэт современной Болгарии с ярко выраженной индивидуальностью, интересно и поучительно проанализировать соотношение между болгарскими оригиналами и русскими переводами его стихотворений.

Это даст возможность взглянуть в творческую манеру ряда советских переводчиков, выявить принципы работы, так называемой, „советской переводческой школы”, а заодно проанализировать поэтику Веселина Ханчева, мастера, поднявшего своим творчеством болгарскую поэзию на европейский уровень и повлиявшего едва ли не на всех болгарских поэтов, писавших в одно время с ним и после него.

В. Ханчев родился в 1919 г. и уже в 1937 г. опубликовал свой первый сборник. В 1960 г. едва ли нашелся бы в Болгарии человек, не слышавший его имени, но именно только в это время, только на рубеже 50-х и 60-х годов, его стихи стали появляться (и, к сожалению, отнюдь не лучшие) в русских журналах. Произошла эта задержка, вероятно, потому, что, в отличие от многих своих собратьев по перу, сам В. Ханчев не приложил к популяризации своего имени никаких усилий: этот многогранно талантливый, широко эрудированный, благородный и мягкий человек был на редкость скромнен.

„Он не только не выносил никакой саморекламы, позы или крикливых споров, рассчитанных на аудиторию, — вспоминает один из его товарищей, — но стоило ему лишь прослышать о приближении какой-нибудь парадной шумихи,

трескучих фейерверков, барабанного боя, торжественного шествия, в котором ему надлежало участвовать, как его нельзя было разыскать. Он не стремился к славе, ему достаточно было внутренней свободы художника”.

И все же, вопреки пассивности В. Ханчева, подлинная поэтичность его стихотворений сумела помочь славе их автора преодолеть границы государств, и к середине 60-х годов его имя завоевывает твердое положение среди известных в России зарубежных поэтов.

Естественно предположить, что к этому времени его поэтика уже освоена переводчиками. Ведь не могли же они взяться за перевод нового мастера, ограничившись только пониманием смысла его стихотворений! Увы! Приходится констатировать, что среди переводчиков В. Ханчева были и такие, которые не только не изучили его поэтики, но вообще не обладали даже минимумом знаний, необходимых для работы в столь ответственной, сложной и специфической области, какою является поэтический перевод.

„Едва ли надобно разъяснять, — справедливо писал еще в самом начале века В. Брюсов, — что каждое искусство имеет две стороны: творческую и техническую... Почему скульпторы учатся по несколько лет, изучая перспективу, теорию теней, упражняясь в этюдах? Почему никому не приходит мысль писать симфонию или оперу без соответствующих знаний и почему никто не поручит строить собор или дворец человеку, не знакомому с законами архитектуры?“*

Но если мы требуем от скульптора знания анатомии, а от композитора — теории гармонизации, то переводчику должно вменить в обязанность знание филологии — в самом широком ее объеме и к тому

* В. Б р ю с о в. Собрание сочинений в 7 томах, т. III. — Москва: „Художественная литература”, 1974, сс. 457-458.

же в применении к обоим языкам, с которыми он имеет дело.

Русский переводчик болгарского стихотворения должен уметь посмотреть на это стихотворение и глазами русского, и глазами болгарина, а для этого он должен знать, как выглядит болгарская земля, какова ее история и ее современная жизнь, что за люди болгары, каковы их обычаи и чаяния. Он должен знать болгарский язык так, чтобы четко представлять себе сходство и различие болгарской и русской речи с лексической, морфологической, синтаксической, семантической и других точек зрения. Он должен знать болгарскую литературу и, в частности, болгарскую поэзию, их историю в соотношении с историей русской литературы и русской поэзии, он должен понимать, что при всем сходстве болгарской и русской метрики, ритмики, строфики и прочего перед ним — две различные стиховые системы, и, даже если он основательно изучил „Теорию стиха” Л.И. Тимофеева, „Стилистику и стихосложение” Б.В. Томашевского, „Технику стиха” Г.А. Шенгели, все же ему было бы не лишним познакомиться, например, с книгами Мирослава Янакиева „Българско стихознание” и Любена Любенова „Римата и стихотворното майсторство”.

Переводчик всегда должен помнить, что „художественность”, „поэтичность” не является чем-то неделимым и непознаваемым, чем-то, подобным декартовскому невидимому эфиру. Это — весьма сложный комплекс взаимодополняющих в воздействии на сознание и воображение читателя элементов, которые скорее можно сравнить с молекулами и атомами, вполне доступными и для наблюдения, и для их выделения в чистом виде, и для их воссоздания.

Из множества этих элементов каждый поэт выбирает для своей работы те, которые наиболее близки

его творческой индивидуальности, и сочетает их между собой тоже в соответствии со своим вкусом. Дело переводчика — разъять стихотворение на эти элементы, познать закономерности их соединения и, найдя подобные же элементы в своем собственном языке, соединить эти элементы в соответствие с найденными закономерностями. Результатом будет новое стихотворение, подобное исходному.

В моем пересказе достижение этого результата выглядит очень просто. В действительности это совсем не так. Начать с того, что не все языки имеют одни и те же элементы и не во всех языках принципы соединения элементов одинаковы. При том одни и те же (казалось бы, одни и те же) элементы в разных языках выражают отнюдь не всегда одно и то же. При работе над переводом почти сразу же возникает необходимость что-то заменить, а нередко чем-то поступиться. Это неизбежно. Надо только уметь поступиться именно наименее важным элементом стиха. Здесь-то переводчику и понадобятся те разнообразные знания, о которых говорилось выше, ибо „наименее важный элемент стиха” не есть величина постоянная.

Для одного поэта самое важное — афористическое выражение мысли (и тогда можно поступиться, например, ритмической адекватностью), для другого важна музыкальная архитектоника, эмоциональная насыщенность стиха, разговорная интонация, игра на рифмах и аллитерациях, цветовая гамма и т.д. и т.д.

Но даже вполне поняв степень обязательности каждого из элементов стиха не только в данном стихотворении, но и в поэзии его автора вообще, пожертвовать „наименее важным элементом” совсем не просто, ибо стоит только его изъять, как его потеря автоматически вызовет изменения в соотно-

шениях всех прочих элементов. Происходит это потому, что все элементы стиха — смысл и порядок слов, длина слова и стопа, ритм и звук — неразделимы в такой степени, что даже определить границу между формой и содержанием просто невозможно. Недаром же говорят, что поэзия — искусство синтетическое (в отличие от прозы, которая представляет собой аналитическое искусство).

Именно поэтому при изменениях формы стиха он просто перестает существовать, умирает, и от него остаются только тленные останки, точно так же, как умирает всякое живое существо, если основательно изменить, растянуть или сдвинуть форму, которую оно получило при рождении.

Чтобы оригинал в руках переводчика „не умер”, тот должен после каждой замены одного элемента другим непременно примериться, не отдалила ли эта замена его перевод от оригинала, одинаковые ли эмоции вызывает у читателя перевод и оригинал. В этом он подобен художнику-копиисту, который, сделав мазок кистью, отходит на шаг, чтобы проверить, не отличается ли восприятие его картины от восприятия оригинала. Постоянное стремление равняться на оригинал, обязательная оглядка на заложенную в нем мысль и на способ выражения этой мысли (которые являются не своими, а принадлежат другому автору) естественно ограничивают личную инициативу переводчика и ставят его по отношению к автору в подчиненное положение. Таков закон профессии.

Когда переводчик не хочет смириться со своей подчиненностью и вместо того, чтобы сделать перевод максимально адекватным оригиналу, пытается чем-то перецеголять этот оригинал, его непременно постигает неудача: нельзя быть католиком больше, чем папа римский. Именно такая неудача не раз по-

стигала, например, Виктора Виноградова, старавшегося в своих переводах В. Ханчева модернизировать самые классические по языку и стихотворной форме его произведения: „бьющийся в траве зеленый сок” он превращает в „звень сока”, „мелькнувшие верстовые столбы” — в „широту дистанций”, про „живших в трудное время” говорит, что они „не играли с судьбою в бирюльки”, про „самоотверженных”, что они „надрывали жилы”, а про „глубокие мысли”, что „мысли врубаются в тело”. Во всех этих заменах присутствует снисходительность переводчика к автору, его постоянное желание улучшить оригинал.

Между тем, переводчик обязан преподнести читателю произведение, тщательно и скрупулезно имитирующее оригинал. Именно поэтому в современном переводческом деле даже блестящий и тщеславный поэт, принимая звание переводчика, тем самым теряет право соперничать с автором — хотя они оба работают над созданием как бы одного и того же произведения.

Впрочем автор создает это произведение с помощью вдохновения и умения, переводчик — с помощью умения и вдохновения; автор — по собственным впечатлениям, а переводчик — воспроизводя впечатления автора, автор — из собственного материала, а переводчик — из материала автора или из материала, имитирующего материал автора.

Ведь никто не назовет актера соперником драматурга, пианиста — соперником композитора, а реставратора картин — соперником художника. И актер, и пианист, и реставратор могут быть мастерами своего дела, могут довести свое мастерство до виртуозности — и все же это будет виртуозность актера, пианиста, реставратора, а не виртуозность драматурга, композитора, живописца.

Переводчик тоже может достичь виртуозности; больше того, он, как всякий мастер, должен стремиться быть виртуозом, но именно виртуозом-переводчиком, а не виртуозом-поэтом. Ибо если он проявит себя как виртуоз-поэт, это будет значить, что он отступился от автора, которого взялся переводить, и занялся популяризацией собственной персоны. В этом случае и результатом его работы будет не перевод стихотворения, а создание по его мотивам своего собственного стихотворения.

Подобное *qui pro quo* происходит нередко, и случается оно обычно с теми, кто, чрезмерно ценя свое дарование, свысока относится и к профессиональным знаниям, и к дарованиям других (в том числе поэта, которого берется переводить). При первой же трудности в воссоздании какой-то особенности оригинала (которую, при уважении к чужому тексту и при понимании специфического отличия между работой над оригинальным произведением и работой над переводом, вполне можно было бы преодолеть) они пасуют, отказываются от попытки *воссоздать чужое, создают свое*, после чего оправдывают свое неумение или малодушие стремлением улучшить слабый оригинал.

Конечно, существуют стихотворения, которые из-за своеобразия поэтики, или из-за разности языков, или по иным причинам перевести невозможно. Но такие стихотворения и переводить не надо. (Не станет же скульптор создавать копию Венеры Милосской из цемента, если у него нет каррарского мрамора!) Но, возвращаясь к В. Ханчеву, можно сказать, что таких непереводаемых на русский язык стихотворений у него — считанное число, и многочисленные ошибки переводчиков его поэзии, о которых говорится в этой статье, вызваны не непере-

водимостью стихотворений, а неквалифицированностью или небрежностью переводчиков.

И еще, пожалуй, тем, что при всей кажущейся простоте ханчевской поэзии его поэтика и сложна, и невероятно динамична в своем развитии. Стих В. Ханчева тесно связан со стихом ряда поэтов — болгарских (Яворов, Дебелянов, Лилиев, Разцветников, Багряна), русских (Лермонтов, Тютчев, Блок, Бальмонт, Пастернак), французских (Вийон, Элюар, Аполлинер, Превьер). Список, как видим, довольно велик, и в нем фигурируют весьма различные поэты.

Это объясняется несколькими причинами. Если говорить о Ханчеве-юноше, то следует отметить, что, сложившись как поэт очень рано, он с запозданием осознал, в чем именно состоит его творческая индивидуальность, и потому острое ухо может уловить в его ранних стихах чужие голоса. Мужая, поэт освобождался от этих голосов, выпитывая лишь те элементы чужой поэтики, которые соответствовали его собственной.

Эволюция В. Ханчева как поэта была очень быстрой, и в самое короткое время поэт приобрел свое собственное видение действительности и овладел и своим собственным выражением этой действительности — сформировался неповторимый поэтический почерк В. Ханчева, его ярко проявленная индивидуальность (которая, кстати сказать, была полностью осознана самим поэтом).

О заключительной фазе этого процесса В. Ханчев писал:

„Большая часть моего творчества написана в рамках традиционного стихосложения, классической поэзии. Но наступил момент, когда я понял, что писать по-прежнему мне уже физически невозможно, что нужно, пусть с мучениями, ос-

вободиться от „комфорта” традиции, от ее удобной тюрьмы”.

Прежде чем говорить об „освобождении”, бросим взгляд на то, что поэт создал, находясь в „комфорте традиций”.

Это — стихотворения, написанные, главным образом, двусложными размерами, чаще всего пятистопным ямбом, что, очевидно, нужно связать как с болгарской поэтической традицией, так и с традицией русского классического стиха, серьезно повлиявшего на поэтику В. Ханчева. В немногочисленных стихотворениях, написанных трехсложными размерами, он отдает предпочтение анапесту, то есть размеру, характерному для Э. Багряны и для ряда других его старших современников. Амфибрахий, как размер средний, наиболее нейтральный из монотонных трехсложных размеров, поэт использует реже всего.

К чередованию числа стоп и размеров в четных и нечетных стихах, к уменьшению числа стоп в заключительных стихах и к другим подобным приемам В. Ханчев прибегает даже в самых ранних своих стихотворениях, что свидетельствует о его намерении модернизировать болгарский стих.

Однако, хотя свои эксперименты поэт внедрял довольно активно, они не могли решить столь кардинального вопроса.

Нужно было во много раз увеличить драматизм, динамику, напряжение стиха, не прибегая к органически чуждым поэту суперлативам — вулканичности выражения чувств, каким бы то ни было заклинаниям, восклицательным знакам. И в этом В. Ханчев успел: художественную манеру его зрелого творчества характеризует сила мысли и чувства, выраженная с предельным лаконизмом, сдержанностью, даже с некоей строгостью.

Его мысль не несется по каскаду слов, а стремится собраться в одну словесную каплю, в которой приобретает большую тяжесть, плотность и концентрированность. Его стихи написаны не шумными и приблизительными словами, а яркими и точными. Роль слова предельно велика, а стих точен, мудр, с большой склонностью к аллегории и символу. Слово всегда тщательно взвешено, всесторонне обдуманно и одухотворено, поставлено на единственно возможное для него место, имеет огромное значение, вероятно не меньшее, чем мерная речь, ибо, по существу, влияет и на ее характер.

Нужно было создать стихотворения, не связанные ни с какими условностями формальной поэтики и в то же время глубоко воздействующие на читателя. В. Ханчев успел и в этом. В некоторых из его стихотворений, написанных в середине 60-х годов, на первый взгляд как будто даже вообще отсутствуют какие бы то ни было тонические доминанты. Но это только на первый взгляд, поскольку особенно тщательно, умело и свободно используя и сочетая разнообразные языковые и специфически стихобразующие средства, поэт сумел в стихотворениях последних лет создать свою мелодию, свои размеры и ритмы, помогающие максимально выразить индивидуальное содержание каждого стихотворения, сделать одно стихотворение непохожим на другое не только по тому, о чем в этих стихотворениях говорится, но и по тому, как говорится.

Стих В. Ханчева в таких произведениях, как „Лозы в Монмартре”, „Хороший ученик”, „Стены”, „Лов дельфинов”, „Я жив” и в ряде других, — свободный стих с особенной ханчевской модуляцией, с особенным лирическим звучанием.

Начало пути В. Ханчева к этому стиху отмечено стремлением увеличить вместимость классических

ритмов. Очень рано поэты перестали удовлетворять эксперименты, при которых варьировалось лишь количество стоп в стихе, и он перешел к видоизменению самих стоп (как трехсложных, так и двухсложных), исключая из них предусмотренные метрической схемой слоги или включая в них непредусмотренные.

Этот прием, распространенный в русской поэзии начала XX века, трансформировал саму систему русского стихосложения. Вслед за Н. Лилиевым и Э. Багряной на болгарскую почву его последовательно переносит В. Ханчев.

Следует подчеркнуть, что В. Ханчев экспериментирует только с безударными слогами, стремясь при этом к повторяемости введенных в стих изменений. Так поэт идет по пути создания новых стихотворных ритмов с современной интонацией, выразительных и близких к живой разговорной речи, не разрушая при этом основ стиха его чрезмерной прозаизацией.

Исключение безударного слога у В. Ханчева всегда имеет художественно значимый характер благодаря точно определенному месту леймы, ритмической паузы, образующейся при стяжении стопы как компенсации недостающего слога. Еще большей смысловой выразительности достигает поэт, когда слог в стопе прибавляется.

Именно упорная целенаправленность и смысловая выразительность работы В. Ханчева в области ритмики своих стихотворений требуют от его переводчиков сохранения ритмических рисунков подлинника. Вообще переводчик болгарской поэзии на русский язык (и обратно), больше, чем любой другой переводчик, должен стремиться к эквиритмичности, ибо в подавляющем большинстве случаев одинаковое положение ударения в стопе и одинако-

вое число стоп в строке болгарского и русского варианта одного и того же стихотворения являются гарантией достижения между ними значительного подобия.

Кстати сказать, русско-болгарские переводчики имеют в этом деле перед другими явные преимущества, как, впрочем, и в деле перевода других стиховых и языковых особенностей. Дело в том, что, несмотря на существенные отличия между болгарским и русским языком (этих отличий вполне достаточно, чтобы русский перевод с болгарского и болгарский с русского был делом весьма и весьма сложным), много между ними и общего: не говоря уж о синтаксической близости построения простых и сложных предложений, главных и придаточных, повествовательных, восклицательных и вопросительных, мы не можем забывать, что 40 процентов лексического состава обоих языков основано на общих корнях.

Следует сказать также, что поскольку русская культура, в том числе и стиховая, издавна была для болгарина второй родной культурой, то исторически сложилось так, что одинаковой стала в обоих языках и функциональная нагрузка классических размеров. Немаловажное обстоятельство представляет и тот факт, что средняя длина русских и болгарских слов почти одинакова, в то время, как, например, английские слова в среднем вдвое короче русских, а литовские более чем вдвое их длиннее.

Совершенно естественно, что при большой близости болгарской и русской языковых и стиховых систем одинаковый ритм особенно сильно сближает здесь подлинник и перевод, а различные ритмы — особенно грубо их разделяют. Сказанное относится и к подлиннику, написанному классическим разме-

ром, и (едва ли не больше) к индивидуальным поискам поэта в области ритмики.

Большинство переводчиков В. Ханчева это понимали и потому сохраняли ритмический рисунок подлинника. Особенно это относится к переменам в классических размерах. Их допускают обыкновенно те переводчики, для которых поэзия В. Ханчева была материалом случайным*. Так В. Цвелев в „Балладе об отце и сыне” заменяет трехстопный дактиль на четырехстопный хорей, А. Лейзерович „Яблоню на острове” с ее чередованием четырехстопного и трехстопного амфибрахия переводит свободным стихом, Г. Корин в стихотворении „Нет, уснуть не могу” вводит в пятистопный и трехстопный анапест четырехстопные строки, пропускает безударные слоги, сталкивает рядом два ударных слога и т.д.

Столь же бесцеремонно относятся к ритмам В. Ханчева те переводчики, которым свойственно снисходительное отношение к подлиннику. В этой связи прежде всего следует назвать Л. Мартынова, М. Алигер и В. Соколова, которые меняют ритмы подлинников нередко лишь на основании собственных капризов.

Так, стихотворение „Капитан”, написанное характерным для В. Ханчева анапестом, В. Соколов перевел редчайшим у поэта амфибрахией. Также произвольно стихотворение „Я жив” в переводах Л. Мартынова и В. Соколова из хорейческого стало ямбическим.

* Конечно, обращение переводчика к творчеству поэта лишь однажды совсем необязательно оканчивается неудачей: Г. Можарова, например, перевела единственное стихотворение В. Ханчева („Нет, не спится”), но подошла к своей работе с такой ответственностью, что ее перевод — безупречен во всех отношениях.

Особенно неудачны (упрощены и обеднены) ритмы ханчевских переводов у М. Алигер, творческой индивидуальности которой поэзия В. Ханчева, по видимому, вообще далека. Ее переводы небезупречны даже с лексической точки зрения, главным образом из-за того, что, вводя в свой текст такие слова, как „хлебушко”, „с устатку”, переводчица слишком русифицирует его, нередко заставляя читателя вообще забывать о болгарском первоисточнике. Есть случаи изменения переводчицей главной мысли стихотворения — хотя бы при переименовании ею стихотворения „Пръстен” в „Перстень” (в то время как в подлиннике речь идет об обручальном кольце).

Переходя от классических ритмов к ритмическим новациям В. Ханчева, приходится сказать, что даже такие немало работавшие над ханчевской поэзией переводчики, как В. Виноградов и Д. Самойлов, их просто не замечают.

Ритмически очень странно выглядит, например, перевод стихотворения „Телефон-автомат” (переводчик называет его, калькируя подлинник, „Уличный автомат”), сделанный В. Виноградовым, поскольку лейма подлинника вводится здесь почему-то лишь в первую и тринадцатую строки, прочие же переданы чистым четырехстопным дактилем. Не услышал В. Виноградов и дополнительного неударного слога в пятой стопе „Драмы, подсмотренной утром”, переведя ее обычным семистопным ямбом. Столь же невнимательным был к ритму „Тишины в Освенциме” Д. Самойлов, у которого это сложное по ритму стихотворение переведено обычным анапестом. Зато „Посѣпление в больницу”, где четко чередуются четырехстопные и трехстопные дактилические строки, Д. Самойлов превратил в разностоп-

ный (от двух до пяти стоп) дактиль, причем лишил первую строку во второй стопе слога.

Чаще всего у советских переводчиков В. Ханчева наличествует тенденция к упрощению ритмов. Исключением может служить, пожалуй, лишь М. Кудинов, у которого наряду с подобным упрощением (например, перевод правильным ямбом стихотворения „Микрокосмос”, написанного В. Ханчевым неравностопным стихом с подвижной анакрузой) встречается и обратное явление — отступление переводчика от константного классического ритма подлинника. Эти ошибки М. Кудинова весьма поучительны, поскольку их источник не в отсутствии уважения к подлиннику, а в недоразумениях, вызванных незнанием языка подлинника. Непосредственно виновато здесь несоответствие звукового характера ханчевского стиха его графическому выражению.

Дело в том, что очень часто стих позднего В. Ханчева — нерифмованный дисметрический верлибр с особенной лирической модуляцией и подвижной анакрузой. Очень часто. Но далеко не всегда: нередко В. Ханчев придает внешний вид свободного стиха стихотворениям, написанным обычным ямбом или хореем, графически разбивая для этого классически правильную строку на две, на три и даже на четыре.

Если мы внимательно рассмотрим, например, 58 неравностопных (от одной до шести стоп) строк „Романсеро о Хосе Санчо”, мы увидим, что это стихотворение состоит из 48 строк, написанных классическим четырехстопным хореем. Точно так же мы можем убедиться в том, что неравностопные на первый взгляд стихотворения „Дерево с птицами”, „Тишина”, „Приговор” написаны пятистопным ям-

бом, а „У меня есть все” и „Красота” — пятистопным хореем.

Любой знающий язык подлинника переводчик услышал бы ритмическую константность строк в этих стихотворениях, ни на секунду не поддавшись их „графическому обману”. Иное дело, когда над переводом работают двое: человек, изготовляющий подстрочник (который обыкновенно владеет языком и не обладает ни поэтическим дарованием, ни стиховедческими навыками), и человек, придающий подстрочнику стихотворную форму (который обыкновенно владеет стихосложением, но не обладает знанием языка). Нет сомнения, что М. Кудинов (а за ним и его русские читатели) стал жертвой стиховедческого невежества человека, делавшего для него подстрочные переводы (и — разумеется — жертвой переоценки собственных возможностей как переводчика).

Рассматривая вопрос о воспроизведении переводчиками ритма подлинника, необходимо рассказать также о художественном приеме переноса (*enjambement*'а) как одном из видов нарочито вводимых поэтом в стихотворении внутривстрочных пауз. Понятие переноса как элемента поэтического синтаксиса основано на представлении о стихе как завершенном синтаксическом отрезке. Конечно, подобное построение — явление весьма редкое: обычно с окончанием стиха завершается не вся фраза, а только какой-то развитый член предложения. Однако и в этом случае стих есть в известном смысле синтаксическая и интонационная единица, хотя представление об авторской мысли в ее целостности мы получаем не сразу же после знакомства с данным стихом, а только после прочтения всех связанных между собою стихов.

Именно такие сложные синтаксические конструк-

ции характерны для стихотворений В. Ханчева, но поэт так логично и естественно разбивает на стихи даже обширные предложения, что каждый стих (или два) несет свой самостоятельный образ и завершен как синтаксически, так и интонационно.

Характерно это и для сложных, и для простых предложений: и те, и другие могут распадаться на логично связанные отрезки — синтагмы. Синтагмы не только заключают в себе смысловое значение, но и исполняют стихообразующую функцию.

В русской поэзии подобное распадение известно по стихам Маяковского. У обоих поэтов подчеркнутое деление на синтагмы приобретает особенно важную функцию в стихотворениях, написанных свободным стихом — благодаря выделению синтагм (или даже слова) в отдельную стихотворную строку.

В стихотворениях, написанных классическим стихом, перенос исполняет функцию обособления группы слов. Располагая фразу между готовыми ритмическими единицами, enjambement заставляет прочесть ее с определенной интонацией, в связи с чем стих приобретает большую выразительность.

Переводчики понимают большую выразительную силу переноса и обычно бережно его сохраняют. К сожалению, нередко они идут и дальше: в стремлении увеличить динамику своих переводов, вводят перенос в те строки, в которых у автора его нет. Так поступил, например, В. Соколов в переводе „Воспоминания”, стараясь, по-видимому, компенсировать тот урон, который он нанес энергии стиха, заменив мужскую клаузулу на женскую:

На рухнувшей сосне, у черной ямы,
они сидели

Еще более грубую ошибку как переводчик до-

пустил В. Виноградов при работе над стихотворением „Бессмертие”, введя такой перенос, которого нет не только в этом стихотворении, но и во всем творчестве В. Ханчева:

..... И тучи
все будут тучи

Если однократно встречающийся в тексте перенос влияет на ритм стихотворения, то несколько переносов могут иметь в стихотворении и иные функции. Так, В. Ханчев использует их нередко и как эффектный прием композиции — например, в стихотворении „В Разливе”, где перенос организует вторую половину каждого катрена.

Разумеется, в подобных случаях пренебрежение переводчика приемом переноса существенно влияет не только на звучание стихотворения, но и на многие иные его компоненты. Достаточно ознакомиться с этим стихотворением в переводе О. Шестинского, чтобы в этом убедиться.

Наряду с ритмом на звучание стиха оказывает немалое влияние характер его окончания, ибо стих с мужской клаузулой звучит не так, как с женской или с дактилической, с рифмой не так, как белый, с точной рифмой, не так, как с приблизительной. Если оставить в стороне „послепереломные” стихи В. Ханчева, где очень часто поэт использует верлибр и потому клаузульную рифму вытесняют повторы других типов, то мы увидим, что динамика ханчевской рифмы на протяжении его творчества — от неточности и точности.

Обилие неточных клаузульных созвучий в ранних стихах В. Ханчева заставляет думать, что их появление не случайно, а является результатом претворения в жизнь определенных эстетических принципов. Молодой В. Ханчев пользовался рифмами точными

и приблизительными, богатыми и бедными, составными и неравносложными, так же, как и ассонансами. Именно потому нельзя считать правильной практику тех переводчиков, которые, находясь под влиянием традиций русского стихосложения больше, чем под влиянием болгарского подлинника, стремятся переводить раннего В. Ханчева только точными рифмами, пренебрегая всем тем богатством рифм, которое он использовал.

И уж, конечно, надо решительно восстать против замен переводчиком рифм одного звукового качества рифмами иного звукового качества. Ведь даже такая, казалось бы несущественная, замена, как замена мужской пары рифм женской (или наоборот) в катрене с перекрестной рифмовкой, совершенно изменяет звучание всего стихотворения. Сравним, например, звучание стихотворений „Земля и небо” (рифмовка abab), „Капитан” (рифмовка baba), „Перед бурей” (рифмовка aсac), „Яблоня на острове” (рифмовка aсac) в подлиннике и звучание их русских вариантов, созданных, соответственно, М. Алигер (рифмовка bdbd), В. Соколовым (рифмовка bdbd), Л. Мартыновым (рифмовка abab), А. Лейзеровичем (рифмовка fafa), и мы полностью убедимся в справедливости сказанного.

В позднем творчестве В. Ханчева большую роль играет прием повторения и варьирования, который распространяется не только на отдельные звуки или отдельные слова, но и на целые строки, двустишия и даже катрены. Как правило, такие повторяющиеся элементы стихотворения являются его квинтэссенцией. Очень явственно это видно в стихотворении „Яблоня на острове”, где ключевые строки, возникающие как экспозиция строки (вторая и четвертая), в дальнейшем, варьируясь, берут на себя нагрузку и всего прямого смысла и второго

плана стихотворения (в десятой и двенадцатой). К сожалению, при переводе и Д. Самойлов, и А. Лейзерович этот прием утеряли, а вместе с формальным приемом утеряли и главную мысль стихотворения (что вполне закономерно): у Д. Самойлова — только второй план, а А. Лейзерович вообще написал нечто свое, что с ханчевским стихотворением, по-существу, имеет весьма отдаленное сходство.

Интересно построены вариации основной строки в стихотворении „Земля и небо”. Здесь после строки „Человек на земле рожден”, повторяющейся трижды, мы каждый раз читаем пассаж полемического характера, который начинается с варьирующейся строки:

Но затем он рожден на свет.
Но рожден на земле затем.
Но родился он для того.

Переводя стихотворение, М. Алигер не ограничилась варьированием этой строки, но допустила также варьирование строки, в подлиннике константной:

Человек на земле родился,
человек на земле рожден,
на земле человек рожден.

Вариация — прием для В. Ханчева не менее характерный, чем точное повторение, и потому сама по себе подобная замена особых возражений вызывать не должна, однако, если мы вспомним, что при переводе этого стихотворения переводчица изменила также его метрический рисунок и систему рифмовки, мы придем к выводу, что, даже если каждая замена сама по себе и допустима, взятые в совокупности все эти переделки стихотворной ткани подлинника существенно меняют звучание стихотворения, его эмоциональное воздействие.

Варьирует В. Ханчев основную строку и в стихотворении „Поэт”:

Всегда будь Колумбом —
Колумбом останься,

и очень хорошо, что оба русских переводчика стихотворения (М. Кудинов и автор этих строк) сумели этот прием перенести и в свои переводы. Конечно, переводчикам это удастся не всегда, но, думается, что в тех случаях, когда варьируется строка, не несущая главную мысль или главное ощущение, это не всегда и обязательно.

Так, в стихотворении „Мальвы” В. Ханчев дважды повторяет (варьируя) строку с призывом мальв:

Быстро! Скорее беги!
Быстро! Беги же скорей!

Конечно, было бы очень хорошо сохранить прием повтора и в русском варианте (тем более, что речь идет о прямой речи, которой в стихах В. Ханчева немного), но, хотя обоим переводчикам „Мальв” (В. Соколову и О. Шестинскому) этого сделать не удалось, их переводы вполне удовлетворительно передают подлинник.

В большинстве стихотворений зрелого В. Ханчева вариации строк весьма сложны, как и сложна сама периодичность этих повторений. Если с этой точки зрения мы рассмотрим, например, стихотворение „Хороший ученик”, то прежде всего заметим троекратное повторение двестишия:

Он был хорошим учеником,
самым хорошим в классе.

В дальнейшем, при приближении к кульминации

стихотворения, мы увидим, что двестише несколько изменяет свой вид:

Он был очень хорошим учеником,
самым хорошим в классе.

Если к этому добавить, что строка „он был очень хорошим учеником” проходит в стихотворении еще дважды без пары, что все стихотворение как бы разрезается на три части другой варьирующейся строкой:

урок мучения,
урок бесстрашия,
урок бессмертия,

что в нем есть еще варьирующаяся анафора, которая при первом ее появлении выглядит как „не молчал”, затем пять раз — „молчал когда”, а в конце — „молчал и получил отличный балл”, то мы будем иметь представление о повторах и вариациях главных строк, играющих стихообразующую, композиционную и осмысляющую роль.

Эта роль хорошо понята (хотя и не совсем поханчевски передана) переводившим стихотворение М. Кудиновым. Другие переводчики стихотворения, В. Соколов и Л. Мартынов, в значительной мере пренебрегли приемом варьирующей повторяемости и тем самым ослабили воздействующую силу стихотворения.

Несравнимо большего успеха добились в аналогичной работе Я. Белинский и В. Виноградов, давшие возможность русским читателям узнать чрезвычайно трудное для перевода стихотворение „Посвящение” в двух поэтических вариантах.

Ключевые в „Посвящении” — строки 1-4 и 13-14. Варьируясь, они служат и заключительным шестиштишем стихотворения.

Эти двенадцать строк Я. Белинский воспроизвел, казалось бы, с максимальным приближением к подлиннику. Не удовлетворяют в его переводе разве что две строки, заключающие первое шестистишие, и их вариант, начинающий второе шестистишие, поскольку первая пара отличается от второй гораздо больше, чем в подлиннике.

Переводившему „Посвящение” после Я. Белинского В. Виноградову удалось преодолеть этот недостаток предшествующего перевода. Удачно справившись с трудностями, которые заключает в себе воспроизведение варьирующихся строк подлинника, В. Виноградов, однако, лишь в очень небольшой степени (и во всяком случае, в меньшей, чем Я. Белинский) приблизился к подлиннику воспроизведением множества наполняющих его анафор, одинаковых слов, слогов, звуков. Таким образом, несмотря на большие успехи обоих переводчиков, адекватное воплощение „Посвящения” на русском языке еще впереди.

Заговорив о многочисленных и разнообразных повторах в поэзии В. Ханчева, нельзя не упомянуть изумительное стихотворение „Черный ветер”, в котором нашли воплощение все выразительные и образительные достоинства болгарского языка, интонационная и ассоциативная гибкость ханчевского стиха, богатейшее разнообразие, присущее поэту в варьировании полустихий и отдельных слов, нагнетении однородных членов предложения, однокоренных и односUFFIXальных слов, лексических и синтаксических анафор, внутренних перекликающихся с конечными рифм, аллитераций и звукописи.

Одни из параллелизмов сильнее действуют на мышление (например, повторения и варьирования строк и полустихий), другие (например, аллитера-

ции) — на чувство. Характерная для В. Ханчева (а русскому читателю знакомая по творчеству Б. Пастернака) звуковая инструментовка стиха, служащая выражению смысловых связей через фонетические (художественный прием, благодаря которому поэт добивается сближения в восприятии читателя слов разного содержания, используя их близость по звучанию), в этом стихотворении проведена особенно тонко.

Разумеется, все многообразие звуковых повторов в „Черном ветре” на другом языке в полной мере воспроизведено быть не может, и это лишает русских читателей возможности оценить по заслугам эту жемчужину ханчевской поэзии. И все же, хотя оба имеющихся у нас русских варианта „Черного ветра” нельзя считать идеальными (перевод В. Виноградова очень бедно инструментован, а в переводе автора этих строк не все стихи легки), они вобрали в себя многие характерные особенности и достоинства подлинника.

Разумеется, переводчики, стремящиеся воспроизвести подлинник вплоть до особенностей его звучания, имеют возможность это сделать в какой бы то ни было степени только в том случае, если они владеют языком автора. Переводчику, работающему по подстрочнику, едва-едва под силу передать лишь содержание стиха, ибо форма стихотворения находится для него за семью печатями. Убедительно в этом смысле сравнение кудиновского перевода стихотворения „Парижский дождь, воспетый шарманкой” с подлинником.

Конечно, никакой подстрочник не может дать представление о всем многообразии звучания подлинника, и перевод М. Кудинова оказался лишенным подавляющего большинства названных выше повторов. Заметив, по всей вероятности в процес-

се работы, рыхлость стихотворной ткани перевода, переводчик решил исправить положение путем увеличения роли рифмы в конце строк. Хотя количество рифмованных клаузул он не увеличил, зато вместо ханчевских весьма отдаленных созвучий использовал рифмы точные и звонкие, к тому же упорядочил их местоположение. Сравним, например, рифмовку первого отрывка стихотворения (цифрами обозначено количество холостых строк между рифмованными):

подлинник: f1bf1a2ab3

перевод: a3ac3cleee

Естественно, что после этой манипуляции звучание ядра строки в переводе стало еще больше отличаться от звучания ее окончания, а, значит, увеличилась и разница между звучанием перевода и подлинника. К сожалению, изменения, сделанные переводчиком, затронули не только звучание стихотворения — в результате перевод М. Кудинова на 15 строк длиннее подлинника!

Большое испытание для переводчиков представляют концовки ханчевских стихотворений: почти все они носят характер афоризма, несущего главную мысль стихотворения. Этот афоризм не имеет назидательного характера, его задача чаще всего в том, чтобы поднять смысл стихотворения с равнины конкретности на высоту обобщения, на высоту символа.

Большинство переводчиков тщательно работает над этими концовками, однако неудач все же довольно много: „Яблоня на острове” А. Лейзеровича, „Уличный автомат” В. Виноградова, „Русская земля” А. Штейнберга, „Тянут сети” и „Перстень” М. Алигер, „Дерево с птицами и „У меня есть все” М. Кудинова.

Большую роль в придании особой силы ханчев-

ским концовкам играет художественная деталь, всегда выразительная и яркая. Эта роль связана с использованием детали в композиционном построении стихотворений (точнее — в подготовке их кульминации, виртуозный расчет места и силы которой обеспечивает идеальную композицию).

Обыкновенно подобная деталь как бы случайно подбрасывается поэтом в начале или середине стихотворения, а в конце его играет существенную роль. При ее первом упоминании читатель обычно даже не обращает на нее внимания и вспоминает о ней только в конце стихотворения, когда она начинает „работать”. (Например, в „Балладе о человеке” голубь появляется почти в начале стихотворения, а о его будущей роли читатель догадывается лишь в конце.)

Но и в тех немногих случаях, когда подобная деталь обращает на себя внимание еще при первом же ее упоминании и поэтому опережает конечную кульминацию, стихотворение строится так, что, даже и заметив эту деталь, читатель ни в коей степени не теряет интереса к целому.

Не менее важна (хотя и не столь масштабна) роль детали в стихотворениях В. Ханчева и при обычной характеристике человека, предмета, явления. Эта роль не так бросается в глаза, и потому в этих случаях переводчики ее игнорируют довольно часто. Н. Глазковым, например, при переводе стихотворения „Тянут сети” утеряны две звезды, которые лирический герой мечтает увидеть у себя на подоконнике (В. Виноградов и М. Алигер в своих переводах этого же стихотворения, сохранив звезды, заставили их прозаически висеть в небе).

Не менее, чем сама деталь, важны для В. Ханчева ее определения. Ведь общеязыковые эпитеты, как бы нейтральные вне контекста, в стихотворениях

В. Ханчева всегда получают огромную нагрузку. Так, например, называя глаза девушки „синими”, он превращает их в символ спокойствия, „черная краска” у него — символ нищеты художника, „железные ограды лоз” — символ тисков цивилизации, а эпитет „сухие”, определяющий сети, заменяют собою пространное сообщение о том, что рыбаки выходят на лов после долгого перерыва.

К сожалению, необходимость подобных эпитетов в ханчевских стихотворениях понимают далеко не все переводчики. В своих переводах стихотворения „Мальвы”, например, В. Соколов и О. Шестинский не воспроизвели прекрасного ханчевского определения пчел — „тяжелые от золотой пыльцы”, в стихотворении „Рассвет” В. Соколов не обратил внимания на чрезвычайно важный для текста цвет тропы, ведущей к маяку, также как Д. Самойлов не заметил, какую важную роль в стихотворении „Ночь на Карловом мосту” играет цвет ленточки в прическе героини.

Казалось, не столь уже важен эпитет „быстрый” в строке: „Гляди — быстрый голубь упал с высоты” („Баллада о человеке”). Но когда в своем переводе стихотворения М. Алигер его выбросила, сразу пропало ощущение огромности лесного массива, который не сумел преодолеть даже „быстрый” голубь. Не менее важно слово „пустой” в строке: „Над пустыми партами склонился страх” („Хороший ученик”). Здесь это слово не просто прилагательное, оно — эпитет, не только сообщающий читателю факт отсутствия учеников за партами, но и помогающий поэту создать в стихотворении определенную психологическую атмосферу. Именно потому и в переводе парты должны быть „пустыми”, в крайнем случае „опустевшими”, как мы находим в переводе Л. Мартынова, но ни в коем случае не „незаняты-

ми” в переводе В. Соколова и тем более не „свободными” в переводе М. Кудинова.

И в использовании эпитетов, и в использовании нейтральной лексики В. Ханчев большое значение придает неожиданности, с какой читатель может встретить слово. Разумеется, в этом смысле поэт больше рассчитывает на свои собственные, им придуманные метафорические эпитеты.

Большую нагрузку у В. Ханчева несут эпитеты, входящие в состав сложных изобразительных комплексов, такие, как: „Крупное солнце, в сети попавшее, светит” или „В пленках бетонных тихонько росла” и т.д. Являясь точным переводом с болгарского языка, эти комплексы и на русском сразу создают атмосферу ханчевской поэтики. Как радостно прочитать, например, в переводе В. Соколова „Солнце большое, в сети попавшее, светит” и каким чуждым В. Ханчеву прозаизмом веет от строк о дочери поэта, созданных М. Кудиновым: „Бетон окружил тебя, сумрак пугал”.

В проведенном выше анализе говорилось не о всех особенностях поэтики В. Ханчева. Ничего, например, не было сказано о строфике и кусковом делении стихотворений, о приеме контраста и аллегории, о прозопопее и конгломератах различных изобразительных средств, о метонимии и гиперболе... Причина этому в том, что не анализ поэтики В. Ханчева был задачей этой статьи, и о ханчевской поэтике мы говорили лишь постольку, поскольку нужно было выяснить, в какой степени переводчики доносят ее до русского читателя, в какой степени Ханчев, которого знают русские, — подлинный Ханчев.

Думается, что привлеченный материал вполне достаточен, чтобы считать поставленную задачу решенной, и дополнительные факты, какие бы они ни бы-

ли, выводов статьи не изменяют. Выводы же эти таковы: а) удачи в своей работе добивается только переводчик, не просто талантливый, но и вооруженный знанием и умением, ибо перевод, сделанный „по наитию”, может воспроизвести подлинник лишь случайно; б) большинство переводчиков В. Ханчева не имело достаточной подготовки и не в силах было поднять поэта над общей массой стихослагателей и поставить его творчество на то заслуженно высокое место, которое оно занимает в болгарской поэзии в действительности.

А ведь, как уже было сказано, судьбе поэзии В. Ханчева в России может позавидовать любой болгарский поэт: В. Ханчева переводили много, некоторые из его стихотворений переводились несколькими переводчиками, среди которых были и весьма квалифицированные.

Предоставляем читателям статьи самим сделать вывод, какое мнение о болгарской поэзии бытует среди русских, если они знакомятся с нею по рекомендациям таких переводчиков, которые в значительном большинстве или сами имеют о ней превратное представление, или превратно ее представляют читателям. Пусть болгары не имеют хорошей прозы и драматургии (на это есть многие причины — от политических до недостаточной разработанности литературного болгарского языка), но у них сохранилось свежее мировосприятие и потому их поэзия — поэзия истинная. К тому же эта поэзия сложилась в значительной мере под влиянием поэзии русской и потому в своем подлинном звучании она особенно близка русским людям.

Игумен ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ)

Русский мессианский прототип по учению В. Шубарта

Все чаще слышатся голоса, что если бы опыт России не имел своей целепричины, то это было бы страшным опровержением идеи, что история вообще имеет какой-то смысл, свое начало и свой конец. Но наоборот, в голосах этих слышится нотка надежды, что судьбы России совершаются неспроста и не втуне... Надо прислушиваться к этим голосам и создавать им усиленное эхо.

В этой статье мы коснемся учения немецкого историософа Вальтера Шубарта, пророчествовавшего о мессианском призвании России. Хотя его понимание этого термина весьма своеобразно и сильно отличается от принятого нами, тем не менее — это попутный ветер в наши мессианические паруса...

Сперва — его общая историософская концепция*.

*

Историософы, ставившие основные вехи на пути развития этой дисциплины, излагали *свои* концеп-

* Вальтер Ш у б а р т . Европа и душа Востока. „Посев”, 1947. Перевод и предисловие В. Васильева (Востокова).

ции относительно ритмики мировой истории: эти концепции частично перекрываются, частично же расходятся. Так и у Шубарта мы найдем некие знакомые элементы*, в общем же о нем можно сказать, что он создал оригинальную теорию современности, исходя из историософских интуиций древних относительно основных „эонических прототипов”, оснастив ее новейшими историческими фактами и своеобразной терминологией. Так, он различает *четыре прототипа*, из которых первый отличается своим *созвучием с миром* (космосом), второй — *господством над миром*, третий — *бегством от мира* и четвертый — *освящением мира*. Соответственно им Шубарт различает четыре типа человека:

1) „*Гармонический человек переживает Вселенную как космос, одушевленный внутренней гармонией, не подлежащий ни человеческому водительству, ни оформлению, а долженствующий быть лишь созерцаемым и любимым. Здесь нет мысли об эволюции, а есть лишь мысль о статическом покое*”.

2) „*Героический человек видит в мире хаос, который он должен оформить своей организующей силой. Здесь все в движении. Миру ставятся цели, определяемые человеком*”.

3) „*Аскетический человек ощущает бытие, как заблуждение, от которого он бежит в мистическую суть вещей. Он покидает мир без желания и надежды его улучшить*”.

4) „*...мессиянский человек чувствует себя призванным создать на земле высший божественный порядок, чей образ он в себе роковым образом носит. Он хочет восстановить вокруг себя ту гармонию, которую он чувствует в себе*” (с. 5).

Примером первого типа могут служить гомеровские греки, китайцы Кунг-Тцэ, христиане-готики; примером второго — античный Рим, романские и

* См. нашу статью „Историософские узоры” — „Грани”, №№ 94 и 95.

германские народы современности; примером третьего — индусы или греки-неоплатоники; примером четвертого — первые христиане и большинство славян.

Оставив в стороне более подробные характеристики первых трех типов, сосредоточим наше внимание на четвертом.

„Мессианского человека, — пишет Шубарт, — одухотворяет не жажда власти, но настроение примирения и любви. Он не разделяет, чтобы властвовать, но ищет разобщенное, чтобы его воссоединить. Им не движут чувства подозрения и ненависти, он полон глубокого доверия к сущности вещей. Он видит в людях не врагов, а братьев; в мире же не добычу, на которую нужно бросаться, а грубую материю, которую надо осветить и освятить. Им движет чувство некоей космической одержимости, он исходит из понятия целого, которое ощущает в себе и которое хочет восстановить в раздробленном окружающем. Его не оставляют в покое стремление к всеобъемлющему и желание сделать его видимым и осязаемым” (с. 6).

Четвертый эон, мессианский, Шубарт одновременно называет и *иоанническим*, по Евангелию от Иоанна, которое пронизано духом мира, солидарности и любви.

Шубарт — оптимистический историософ, об этом свидетельствуют следующие его слова:

„Тот, кто смотрит на историю, как на ритмическое течение сменяющихся прототипов, тот избегает искушения относить смысл и цель мира к какому-нибудь далекому, конечному состоянию. Ему не нужно выдавать вексель на какое-то неопределенное будущее. Для него, как для Ранке, все времена „равны перед Богом”, даже времена героические, которые ничего не хотят знать о Боге. В каждой зоне заключается весь смысл всего. Также, как пауза в мелодии, так и в космическом ритме — безбожные эпохи имеют свою функцию. Именно, рядом с темными зонами, вырисовываются светлые во всей их сияющей полноте. Только так возможно откровение божественного человеческого роду. При-

выкшие к свету, пресыщенные светом глаза, это божественное больше бы не замечали. Сумерки же укрепляют зрение и заставляют взор искать свет.

История представляет собой наиболее захватывающую картину как раз в тот момент, когда одна эпоха меркнет и за ней уже начинают вырисовываться очертания новой, когда линия ритмической волны меняет свое направление, когда она, достигая своей низшей точки, прекращает движение вниз и начинает двигаться вверх, к новому гребню. Это — междувременье, апокалипсические моменты человечества. В этот момент появляется ощущение, что все существующее рухнет, хотя на самом деле происходит лишь вытеснение прежнего прототипа — новым” (с. 6-7).

Шубарт считает, что история есть процесс образования культур и человеческих типов, происходящий в результате взаимодействия двух факторов: *духа ландшафта* и силы крови, или, в ином сечении, постоянных сил месторазвития и переменных сил эонического прототипа.

„Сочетание и противоборение этих двух противоположных принципов, земного и духовного, и борьба между прототипами — составляют содержание культурных судеб...” (с. 13).

Если эти силы накладываются, то народ или культура расцветает, если нет — то душа их травмируется. В судьбе русского народа, особенно в XX веке, наблюдается мучительный раздор между духом ландшафта и духом эона, вернее — духом уходящего эона.

Центр тяжести культурных образований перемещается по лицу земли. И Шубарт подтверждает, со своей стороны, предвиденья многих современных историософов о том, что ныне этот центр как будто образуется в своем зародыше на евразийских просторах.

„В иоаннистическую эпоху, — пишет он, — центр тяжести еще раз переместится, ибо эон мессианского человека с его

религиозной душой не может согласиться с духовным водительство прижатых к земле северных народов. Он передаст его в руки тех, кто обладает стремлением к сверхземному, в качестве постоянной черты национального характера, а таковыми являются славяне, в особенности русские. *Огромное событие, которое сейчас готовится, — есть восхождение славянства, как ведущей культурной силы*” (с. 16).

Об этом, правда, говорил еще Гердер...

*

Отношение Запада к русским весьма сложно, но в общем — неприязненно, хищно и агрессивно: здесь имеется и „дранг нах остен”, и „жажда концессий и экономических прибылей”. Наоборот, русские всегда мечтали „освободить” Европу, сказать ей „последнее слово”: здесь и Достоевский, и Соловьев...

„Россия не хочет, — пишет Шубарт, — ни победить Запад, ни за его счет разбогатеть, она хочет его освободить. Русская душа наиболее всех склонна к жертвенному состоянию, отдающему себя самозабвению. Она стремится к всеобъемлющей целостности и к живому воплощению мысли о всечеловечестве. Она переливается на Запад, ибо она хочет все, а следовательно, и Европу. Она не стремится к законченности, к расточению, она хочет не брать, а давать, ибо настроена она мессиански. Ее последняя цель и блаженство — в избытке самоотвержения добиться вселенскости. Так мыслил Соловьев, когда он в 1883 году написал понятную фразу: „Будущее слово России — это, в согласии с Богом вечной правды и человеческой свободы, произнести слово замирения между Востоком и Западом” (с. 22-23).

Евразийцы думали, что русская идея рождается из самое себя, без внешних влияний; Шубарт же, не отрицая самобытности русской идеи, думает, что рождается она лишь в конфликте с Западом, антитезисно и контрастно. Исследуя историю взаимоотношений народов, он приходит к заключению,

что большие войны и потрясения — в результате возникающих идеологических столкновений — приносят с собой оплодотворение старой почвы новыми семенами.

„Большому примирению всегда предшествует крайняя интенсивность политических и военных столкновений. Ведь ненависть может перейти в симпатию, равнодушие же — никогда” (с. 28).

*

В то время как мы, русские, склонны рассматривать большевизм как сатанинское явление нашей внутренней жизни, как самодовлеющую трагедию, Шубарт, будучи иностранцем, готов смотреть на те же самые события извне, из историософской перспективы, и, невзирая на свое искреннее отвращение к нему, считать его промыслительным событием для всего человечества, неким бичом Божиим. Первое значение большевизма — это нанесение „ку де грас” саморастлевающемуся западноевропейскому прометеизму, причем под термином „западноевропейский”, само собой разумеется, следует понимать прометеизм не только в географическом, но и вообще — в культурном смысле. Он считает, что с 1914 года мы вошли в период столетней западно-восточной войны. Отметим в этой связи, что писал-то Шубарт свою книгу *до второй мировой войны* и, естественно, *до третьей*, которую уже, по словам Солженицына, Запад проиграл без единого выстрела. На Западе жизнь, в принципе, остается на том же самом, что и раньше, уровне. Конфликт же снова нарастает между Западом и Востоком. И в этой области, скажем за Шубарта, наблюдается опровержение третьего закона Ньютона, ибо в нашем столетии мы видим, что действия

Запада встречают более сильную реакцию Востока. Так, в 1914 году на удар со стороны Германии и Центральной Европы Восток ответил освобождением славян и созданием враждебной Западу идеологии; на удар с Запада в 1939 году (что Шубарт мог только предугадывать) Восток ответил интеграцией славян (принудительной, правда...), расколом немецкой нации и перемещением границ далеко с востока на запад.

„Россия же, — пишет Шубарт, — в качестве базы мирового коммунизма, посредственно или непосредственно, явно или тайно, в значительной степени определяет судьбы Европы, укрепляя разлагающее движение или развивая силы национальной самозащиты” (с. 31).

Наблюдая демографические изменения Европы в пользу роста славянского населения и учитывая факт, что СССР объединяет теперь сотни народностей, Шубарт говорит, что теперь речь идет уже не о самой России, а о целом демографическом континенте:

„Нынешняя русская политика, — отмечает он, — пропаганда мировой революции, вмешательство в суверенные права других народов, подрывная работа в колониях, — все это лишь следствия и выражения мощных сил, медленно поднимающихся из пепла ростопчинской Москвы; причинами этой политики являются отнюдь не коммунизм, не партийная программа, и не пара людей, книг или теорий” (с. 32).

В этих словах Шубарт оттеняет стихийность коммунистической силы, захлестывающей западный мир. Это — борьба новой, наступающей культурной системы, со старой, уходящей, борьба, оборачивающаяся первой, отрицательной и разрушительной фазой.

„Все недовольные Европой поработанные, все кто жаждут отомстить за причиненную им неправду (а сколько та-

ких!), все могут объединиться под этой формулой (мировой революции. — иг. Г.). Под этим знаменем европейский пролетарий и цветной раб выступают рядом друг с другом в едином союзе, — так автоматически совершается включение „эфиопизма” в большевистский фронт” (с.32).

И дальше:

„Сегодня Европа чувствует себя под серьезной угрозой русского большевизма. Если бы она пристальнее взгляделась в его облик, она обнаружила бы в нем свои собственные западные идеи, которые большевики лишь увеличили и огрубели до пародии, — идеи атеизма, материализма и прочих сомнительный хлам прометеевской культуры. То, чего Запад боится, — это не самих идей, а тех чуждых и странных сил, которые за ними мрачно и угрожающе вырисовываются, обращая эти идеи против Европы” (с. 33).

Единственно, что в течение последних десятилетий Европа сумела противопоставить коммунизму, — это неудачную попытку фашизма, незаконно-рожденного детища того же коммунизма; но фашизм по своему духу — разъединительная сила, а не интегрирующая. В результате провала фашизма (и даже в случае его удачи) нации остались разрозненными, как некоординированные члены тела, разбитого параличом, и ослабшими не только физически, но и психически. В наши дни Хельсинки, Португалия, Ангола свидетельствуют в пользу шубартовской теории. Сколь знаменателен факт, что половина африканских государств, представители которых собрались в Аддис-Абебе для определения своего отношения к захвату Анголы коммунистами, высказалась в пользу этого захвата!

*

Шубарт определяет, что древние русские по своему характеру принадлежали к гармоническому ти-

пу, но что под внешними влияниями (Византия, татарщина, германо-шведская агрессия, наполеоновское нашествие, западный материализм) свободное выявление этого эонического прототипа в России было задержано. Гармоническая душа под сильным воздействием прометейского духа либо уклоняется в аскетизм, либо реагирует мессиански. Травмированный, искаженный мессианизм русских до времени проявился в виде коммунизма.

Сам по себе мессианский человек

„любит мир не ради его самого, а для того, чтобы в нем создать божественное. Для него мир хорош только тем, что является сырым материалом для осуществления его миссии. Мессианизм его есть сознание посланничества. Мессианский человек стремится осуществить то, что гармонический человек видит вокруг себя уже осуществленным. Поэтому он более активен, нежели гармонический человек, и еще более активен, нежели человек аскетический” (с. 59).

Дальше Шубарт отмечает, что русский не довольствуется простым познанием истины, „он стремится эту истину пережить”, и недаром в русском языке наряду со словом *истина* (рациональный аспект) существует и слово *правда* (жизненно-нравственный аспект). Добавим, что это замечание как нельзя лучше согласуется с тем, что Иисус Христос (Мессия) сказал о Себе: „Я есмь путь, и истина, и жизнь”!

„Мессианский дух веет, — пишет Шубарт, — и в политических судьбах России. Русских отмечает так же, как и дохристианских иудеев, близость религии к истории; у них дух и тело, идея и политика стремятся пронизать друг друга. (...) Мессианской является и русская национальная идея от Священного Союза Александра до большевистской пропаганды за освобождение мирового пролетариата. Меняются, правда, формы ее проявления, но острый взгляд всегда может обнаружить постоянное ядро” (с. 60).

Если спорным можно считать то, что сказал Бердяев о русском коммунизме как искажении русской мессианской идеи, то легче можно согласиться с Шубартом, когда он утверждает, что таковым искажением прежде всего надо считать *русский нигилизм* — как разочарование в мессианизме старого толка и как выражение отчаяния, ведущего в противоположном направлении. Если нельзя достигнуть неба, то пусть пропадает и земля!

Западные идеи, по существу чуждые русскому типу, проникли в Россию и, как это иногда бывает в природе со случайными переселенцами из животного мира, буйно развились на русской почве.

„Максималистский дух русских довел эти идеи до крайних следствий и *тем самым опроверг их*. Большевистское безбожие раскрыло своим кровавым языком внутреннюю гнилость Европы, и скрытые в ней зародыши смерти. Оно показывает, куда должен был бы зайти Запад, если бы он был честен. Из Европы упали искры на Восток. Горячее дыхание русских разожгло их в гигантский пожар. Ныне пламя грозит вернуться с пожарища обратно.

Россия взяла на себя судьбу Европы. Теперь видим пропасть, куда она должна была бы скатиться, если бы она свои прежние идеи не оставила бы и не отринула. Россия доказывает для всего человечества несостоятельность безбожной культуры законченности и иллюзию автономного человека. Она являет конец культуры законченности и тем, что она за всех страдает, она сама себя освобождает от чужих сил, которые ее душили в течение столетий. Когда человеческое общество освобождается от всех божественных отношений, оно постепенно переходит в то естественное состояние, каким его видел Гоббс, в войну всех против всех; в бессмысленную бойню во имя низких целей.

Как бы странно это ни звучало, — заключает Шубарт, — *русское безбожие, ядро большевистской революции, есть ультиматум Бога Европе*” (с. 82-83).

Говоря о русской религиозности, Шубарт выражает мнение, что русские были христианами еще до

обращения в христианство, что перекликается со сведениями, которые мы черпаем из Влесовой Книги. А то, что в России все еще длятся жестокие гонения на Церковь и религию, Шубарт оценивает как своеобразно обнадеживающее явление: лучше, когда действующие храмы закрывают, чем когда они открыты, но все проходят мимо них с полным равнодушием. Он добавляет:

„Для религиозного обновления решающим является не число населяющих страну безбожников, а число подлинных христиан” (с. 84).

*

Пусть Шубарт несколько идеализирует русских (как это отметил переводчик в предисловии к его труду), но в его взгляде на русскую действительность есть много зорких наблюдений и о том, что в ней есть, и о том, что в ней может, — а следовательно, и должно — быть.

Против себя самого

А. Герцен и нравственные проблемы социализма

I

31 декабря 1863 года А.И. Герцен записал в своем Дневнике:

„С 1851 я не переступал в новый год с таким ужасом — надежды на что-нибудь светлое нет — ни в общем, ни в частном” (XX, 605)*.

И тогда же — в письме к Н.П. Огареву, кумиру своей, казалось бы, неизменной шиллеровской дружбы:

„Связи, длившиеся всю жизнь — подаются. Мы понижаемся в глазах друг друга... Эгоизмы развиваются больше, и все рухнет на несовершеннолетних... В общем мрак и ужас, мы комфортативами** натягиваем себя на призрачные веры” (XXVII, 432).

О том, что после 1863 года влияние „Колокола”, как и вообще всего Лондонского революционного центра, пошло на убыль — уже писалось неоднократно

* Все ссылки на произведения и письма А. Герцена даются по Полному Собранию Сочинений в 30-ти томах, Изд. АН СССР. В скобках указываются том и страница.

** Франц. confortative — укрепляющее средство.

но. Сейчас важно лишь подчеркнуть, что Герцен прекрасно понимал это и уже искал для себя новые формы деятельности. Талант публициста оставался при нем, и многое еще можно было сделать для России, по его представлению, „в общем”. Но „частное” действительно могло привести в ужас: семейная катастрофа в доме Герцена надвигалась неотвратимо, и он был перед ней совершенно бессилен.

Внимательный читатель „Былого и дум” не может не заметить, что, начиная с шестой части („Англия”), резко меняется вся система художественного повествования в мемуарах Герцена. Из них постепенно исчезает герой, чье „былое” и раздумья описаны в первых пяти частях. Герцен вынужден был отказаться от своего собственного художественного принципа: „Былое и думы” есть „отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге”. Он не мог больше писать о себе и своем доме с прежним сознанием уверенности, что его жизнь имеет право быть рассказанной, потому что в ней отражались существенные процессы времени. Если „рассказ о семейной драме” 1849-1852 годов (измена и смерть Н.А. Герцен) автор считал возможным со временем напечатать в составе своих мемуаров, то о личной жизни в Лондоне 1852-1865 годов в „Былом и думах” почти нет упоминаний.

Из писем и дневников Герцена мы знаем, сколь драматически развивались в это время судьбы его самого, его детей, Н.П. Огарева... И было в этом развитии нечто, что безусловно надо считать „отражением истории” (желал того Герцен или не желал). Весь этот материал должен быть включен в поле исследования, если мы хотим понять общее направление деятельности Герцена в последнее пя-

тилетие его жизни и определить настоящее место этого общепризнанного русского социалиста в наших современных спорах о социализме.

Как известно, Герцен приехал в Лондон в 1852 году после смерти своей жены Н.А. Герцен с тремя детьми: Александром — 13 лет, Натальей — 8 лет и Ольгой — 2 лет. В 1856 году в Лондон прибыли из России Н.П. Огарев и его жена Н.А. Тучкова-Огарева. Вскоре Тучкова-Огарева стала негласной женой Герцена, и в 1858 году родилась их дочь Лиза. Истинный характер семейных отношений вначале знали лишь Герцен и Огарев. Последний не только без всякого драматизма передал свою жену другу, когда заметил ее „сильную страсть”, но считал этот акт подтверждением своих теорий о ненужности брака вообще и неминуемом уничтожении его в социально обновленном грядущем обществе. И Герцену, и Огареву казалось, что, создав свою „общую” семью, они на практике осуществляют начала тех новых нравственных устоев, о которых мечтали авторы многих социалистических утопий. Но объяснить своим детям эту новую нравственность ни Герцен, ни Огарев не решались. Лиза называла отца „дядей”, а Огарева „папой”. В семье поселилась ложь, тем более что старшие дети начинали понимать истинное положение вещей. В 1861 году родились еще дети: близнецы. Тучкова-Огарева тяготилась своим ложным положением, нервничала, ревновала к прошлому, устраивала истерические сцены. Воспитательница старших детей М. Мейзенбург увезла их в Италию, не без основания считая, что ложь в семье может плохо отразиться на сознании подрастающих девочек. К тому же Мейзенбург ненавидела Тучкову-Огареву. Та платила ей тем же. Александр (сын) был несправедлив и резок со всеми и не скрывал своего отрицательного отношения к новой жене от-

ца. Сам он, правда, тоже был в тяжелых обстоятельствах: от его мимолетной связи с Ш. Гетсен родился ребенок, но Александр не хотел брака и уехал из Лондона. Так распалась старая семья Герцена. А новая, „общая”, не ладилась. Тучкова-Огарева постоянно грозила уходом вместе с Лизой. Огарев пил. Он продолжал считать, что тяжелая обстановка в доме сложилась потому, что „брак — вообще несчастье” и еще не до конца разрушен. Но Герцен уже в 1862-1863 годах начинал в этом сомневаться. Именно эти расхождения с Огаревым и отражены в новогодней записи Герцена. Страх за детей („несовершеннолетних”) постоянно жил в сознании Герцена все эти годы. „В моей жизни есть с рождения Лизы что-то безумное, меня страшат последствия, судьба детей, судьба твоя” (XXVII, 434), — пишет он Огареву 1 марта 1864 года. К этому времени обстановка в доме еще больше накалилась. Тучкова-Огарева возненавидела вдруг своего бывшего мужа. Решено было всем покинуть Лондон весной 1865 года. Но Тучкова-Огарева не хотела и не могла ждать. В сырую европейскую зиму в декабре 1864 года она взяла своих троих детей и уехала в Париж. Через несколько дней во время эпидемии и как последствия резкой перемены климата заболели и умерли двое младших детей. Девочка Леля — girl, — любимица Герцена, умирала в полном сознании на руках отца, которого она называла „дядей”. Смерть этого ребенка, ее последние английские слова: „I am afraid“ — Герцен постоянно вспоминал всю оставшуюся жизнь. Они вошли в его сознание как жестокое возмездие за все ошибки, собственный „эгоизм”, „бесхарактерность” и т.п.

Когда же совершенно измученный и духовно сломленный всей своей личной трагедией Герцен в январе 1865 года приехал в Женеву, надеясь устро-

ить там новый дом, это оказалось невозможным из-за целой колонии русских эмигрантов, буквально осадивших Герцена. Молодые люди, бежавшие из России от полицейских преследований после волны революционных прокламаций и террористических актов, считали себя — да так действительно и было — последователями Чернышевского, революционерами и социалистами. Они хотели организовать в Женеве на деньги Герцена типографию, получить право распоряжаться так называемым „Бахметьевским фондом“* и требовали у Герцена права печатать в „Колоколе“ все, что найдут нужным. Нет необходимости сейчас перечислять имена тех, кто составлял эту колонию. Среди них были люди по своему умные и наделенные публицистическим талантом; были „хористы“ революции — по меткому определению Герцена; были и те личности сомнительной судьбы и сомнительной нравственности, которые непременно пристраиваются ко всякому общественному движению. В истории русской общественной мысли все они получили известность как „молодая эмиграция“, или „женевская эмиграция“ 60-х годов. Герцену сразу оказались не по душе нравы русской женевской колонии: бесконечные партии друг против друга, сплетни, взаимные подозрения в шпионстве, клевета, материальная беззащитность и нравственная нечистоплотность. Но, может быть, более всего отталкивало Герцена непонятное самолюбие и болезненные амбиции этого поколения. Его, так много сомневавшегося в своей жизни, удивляла беспрецедентная уверенность молодых

* Деньги, которые Герцен и Огарев получили от П.А. Бахметьева на продолжение их изданий и которые оставались нетронутыми до 1869 года. См. о странной истории и судьбе Бахметьева в „Былом и думах“, часть VII (XI, 344).

людей в собственной правоте, удивляла ненависть к России и стремление разрушить в ней все до основания, смутно представляя себе, что будет потом. На первых порах Герцен делал большие уступки, считая многое временным юношеским максимализмом. Хотя у него, по его собственным словам, „волос становился дыбом от мерзости женовской”, он все-таки до конца 1866 года не давал себе права отречься от этих своих духовных детей. Всегда внимательный к воззрениям своих противников, Герцен и здесь искал компромисса, тем более что не без оснований считал себя принадлежащим к тем, „которые вызвали их на свет...” „Не теперь же я стану отречься от всего прошедшего своего”, — писал он в письме к П.В. Долгорукому 21 августа 1866 года (XXVIII, 215).

Несмотря на сомнения и колебания, Герцен продолжал в эти годы открыто называть себя социалистом, хотя от революционного социализма он, по сути дела, отказался еще в 1862 году и даже до петербургских пожаров и кровожадных прокламаций „Молодой России”. Знаменательна в этом плане малоизвестная статья Герцена со странным названием „Мясо освобождения”.

Она полемически заострена против тех, кого Герцен называет „прогрессивными доктринерами”, любящими „готовые” истины и наспех сколоченные программы, а также против „книжников революции” (явный намек на Чернышевского), которые „за собственным шумом и собственными речами” вовсе не желают слушать, что говорит народ, которого они взялись „поучать”. Это им советует Герцен:

„Скромнее надо быть, полно воспитывать целые народы,

полно кичиться просвещенным умом и абстрактным пониманием" (XVI, 27).

Но не только ради упреков русской революционной партии была написана эта статья Герцена. Она подводила некоторый итог и его собственного революционного опыта в период активной организации в Лондоне „Земли и воли". Неслучайно, обращаясь к самому себе и к своим ближайшим друзьям Огареву и Бакунину, Герцен пишет:

„Полно *нам* (выделено мною. — Е.Д.) из себя представлять громовержцев и Моисеев, возвещающих молнией и треском волю Божью, полно представлять пастырей мудрых стад людских! Методы просвещений и освобождений, придуманных за спиною народа и втесняющих ему его неотъемлемые права и его благосостояние топором и кнутом, исчерпаны Петром I и французским террором".

И далее, имея в виду не только печальные опыты организации коммун в Северной Америке (Э. Кабе), но и идею искусственного догматического насаждения социализма вообще, Герцен продолжает:

„...социалисты учили прежде, чем знали, устраивали фаланстеры, не отыскав нигде такой породы людей, которая хотела бы жить в рабочих домах" (XVI, 27, 29).

Герцен, в отличие от многих своих современников (да — увы! — и наших), действительно умел извлекать опыт из уроков истории, хотя и прекрасно понимал, что „никакой опыт и никакая мудрость" не спасет „от увлечений, от отклонений, от всяких глупостей". „Но пусть же глупости эти будут не те же самые" после нашего страшного опыта, — хочется сказать теперь словами Герцена некоторым современным нашим историкам и теоретикам социализма на Западе.

Еще и еще раз перебирая в памяти тяжелый и для него разочаровывающий опыт французской револю-

ции 1848-1852 годов, Герцен выступает против революционной доктрины вообще и против революционных мечтаний своей молодости:

„Великая основная мысль революции, несмотря ни на философские определения, ни на римско-спартанские орнаменты своих декретов, быстро перегнула в полицию, инквизицию и террор: желая восстановить свободу народа и признать его совершеннолетие, для скорости обращались с ним как с материалом благосостояния, как с мясом освобождения *chair au bonheur public*, вроде наполеоновского пушечного мяса” (XVI, 28).

Как это горько и проникновенно сказано: „для скорости”! Сколько страшных опытов такой „скорости” дала нам история за последние сто лет! А Герцен, как бы предчувствуя соблазн будущих кровавых диктаторов, предупреждал мыслящих и нетерпеливых теоретиков: народ нельзя освободить никакими теориями и никакими революциями, только долгий малозаметный процесс, которому мыслящие могут лишь способствовать „помогать развиваться” и „отстранять препятствия”, может привести к добрым результатам. „Манна не падает с неба... она вырастет из *почвы* (выделено мною. — Е.Д.): вызывайте ее, умеете слушать, как растет трава, а не учите ее колосу, — пишет Герцен почти одновременно с Ф.М. Достоевским, тогда же опубликовавшим в журнале „Время” свою известную „почвенническую” программу.

Мы остановились так подробно на этой статье Герцена потому, что ее старались не замечать социал-демократические и коммунистические исследователи Герцена. Некоторые, правда, пытались увидеть в ней какой-то поворот к „революционному народу” (по Ленину), но несколько сконфузились, поскольку „реакционный” русский журналист С.Громека как на зло похвалил Герцена за его

стремление отказаться от „мяса”, видя в этой метафоре отказ от всяких революционных, кровоупускающих программ.

Между 1862 и 1865 гг., когда начались споры Герцена с его политическими наследниками — „молодой эмиграцией”, — проходит целая полоса трагических для русской истории событий: петербургские пожары 1862 года, террористические прокламации, неоправданные и жестокие репрессии против молодежи, позорная гражданская казнь Чернышевского, польское восстание... „Колокол” должен был откликаться на все, четко формулируя свои позиции, резко разграничивая свое одобрение и порицание. Герцену было не до раздумий. Но к 1864 году, когда страсти немного улеглись, он вновь начал свой поиск „истины”, которая, по его многочисленным признаниям, всегда была главным делом его жизни. Как и раньше, Герцен вышел из полосы „бурь” и „шквалов” с новым опытом и новыми разочарованиями. Часто, по его собственным словам, он поступал не так, как ему хотелось, писал не все, что думал, — и о русском движении, и о польском восстании. Борьба, как ему казалось, требовала того. Но, оглянувшись назад после бури, он увидел себя духовно одиноким и уставшим от ненужных натяжек. Тогда Герцен написал два цикла: „Письма к будущему другу” и „Письма к противнику”. Последний обращен к хорошо знакомому Герцену еще со времен московских споров 40-х годов Ю. Самарину, славянофилу. Несколько дней Герцен „сражался” с ним в Лондоне „зло” и „язвительно”, пытаясь вместе с тем найти какие-то „общие точки”.

Герцен не мог согласиться с Самариним, столь испуганным революционными событиями в России, что готов был оправдать все суды и репрессии.

Но будучи убежденным, что и он, и его противник служат одному — русскому народу, — Герцен желал идеологических и политических контактов и объединения интеллектуальных возможностей. „Дело для нас не в точке отправления, не в личном процессе, не в диалектической драме, которыми мы отыскиваем истину, а в том, истинна ли истина”, — пишет он Ю. Самарину, стороннику сохранения крестьянской общины в России. Называя „русским социализмом” тот „социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владения и общинного управления”, Герцен полагал, что этот „быт” „идет вместе с рабочей артелью навстречу той экономической справедливости, к которой стремится социализм вообще и которую подтверждает наука” (XIX, 193). Но не только конкретные экономические пути к социализму волнуют Герцена в эти годы. С идеей социализма связана вся его деятельность и пропаганда. „Социалист я не со вчерашнего дня. Тридцать лет тому назад я высочайше утвержден Николаем Павловичем в звании социалист” (XVIII, 277), — пишет Герцен своему „противнику”, вспоминая „тюрьму и ссылку” тридцатых годов. Тогда его мысли были направлены на поиски справедливости в духе христианского социализма Сен-Симона. Позже, в сороковые годы, — на поиски „любви и истины” в духе Фейербаха. Но всегда для Герцена главным были не экономические и прагматические вопросы будущего общества, а его нравственные устои, обновленные и отрешенные от старых догматов. Революция в абстрактном ее ореоле освобождения призывалась Герценом только до 1848 года.

Привлекая материал многих статей Герцена 1862-1865 годов, можно сказать, что Герцен отказался от

политического революционного социализма, то есть от целесообразности насильственного ниспровержения существующего несправедливого общества и замены его какой-либо из известных тогда форм социалистического порядка (фаланстер, коммуна и т.п.). За русскую крестьянскую общину он держался лишь потому, что видел в ней естественную, а не навязанную социалистами форму бытия. Однако сама идея социализма, идея создания нового общества все еще была дорога Герцену. Он по-прежнему был атеистом, как и в дни своей молодой борьбы с „идеалистами”, по-прежнему отвергал справедливость нравственных устоев, основанных на каком-то „долге”, религиозном или государственном. Именно новая нравственность, основанная на разумных и познаваемых началах в противовес евангельским „готовым истинам”, влекла Герцена к социализму. Ему казалось, что только эта доктрина освобождает дух и плоть от стеснительных колодок и дает простор развитию человеческой личности. А в каком направлении будет развиваться эта освобожденная личность? Ранее Герцен не задумывался об этом со свойственной ему строгой логикой. В сознании жила твердая вера, что освобожденная от догматов личность будет развиваться в *лучшую* сторону. Однако события в собственном доме, взрыв эгоистических страстей вместо разумной гармонии и неизбежная ложь перед своими детьми заставили Герцена глубоко задуматься над истинностью своей прежней веры. А встреча с „духовными” детьми в Женеве усилила эти раздумья.

Именно в раздумьях проходят для Герцена 1865-1867 годы. В статьях „Колокола” за этот период он часто пишет об „огромном успехе социальных учений между молодым поколением”, а также постоянно защищает Чернышевского и „нигилистов” от дружных проклятий консервативной и либеральной русской прессы. Так, например, в статье „Порядок торжествует!” Герцен писал: „Нигилизм в серьезном значении — наука и сомнение, исследование вместо веры, понимание вместо послушания” (XIX, 198). Ни „сомнение”, ни „исследование”, ни „понимание” никогда не были присущи ни Чернышевскому, ни Писареву, ни братьям Серно-Соловьевичам, ни кому-либо из их последователей, которые обладали еще большей категоричностью суждений, чем их духовные учителя. Получается, что Герцен защищал не реальных носителей нигилистической доктрины, а специально созданный им для полемики образ мыслящего и ищущего нигилиста. Неслучайно еще Ю. Самарин, острый и умный „противник”, почувствовал какие-то фальшивые ноты в герценовской пропаганде и удачно заметил ему в частном письме, что „отсутствие почвы” заставляет его „продолжать без веры какую-то революционную чесотку по старой памяти”.

Однако по отношению к позиции Герцена в 1865-1867 это уже не соответствует реальности. Ставя себя все еще со стороны русского революционного движения и подчеркивая свою солидарность с „молодыми штурманами будущей бури”, Герцен тем не менее несколько раз повторял в эти годы; что „мысль о перевороте без кровавых средств” ему „дорога” (XIX, 191). С его точки зрения, грядущее обновление общества может быть достигнуто со-

зывом „великого собора” „без различия классов”. Это, по мысли Герцена,

„единственное средство для определения действительных нужд народа и положения, в котором мы находимся. К тому же это и единственное средство выйти без потрясения и переворота — террора и ужаса — без потоков крови из длинного предисловия, называемого петербургским периодом” (XIX, 78).

К сожалению, русское освободительное движение с середины XIX века вовсе не ставило себе целью знать „действительные нужды” народа. Одна за другой конструируемые доктрины — от М. Бакунина до В. Ленина — относились к народу именно как к „мясу освобождения”.

Революцию в России готовили *личности*, устремленные на претворение в жизнь *собственных* программ. Отсюда бесконечные личные полемики, расколы, размежевания, объединения и т.п. Отсюда подозрительность и неприятие инакомыслящих. В этом плане внимательный и остро чувствующий типическую сущность явления А. Герцен сумел разглядеть во взаимной ненависти „утят” (сторонники Н. Утина), „гулят” (сторонники М. Гулевича), „грузинов” (сторонники Н. Николадзе) и поборников самого „красного” — А. Серно-Соловьевича — многие приемы будущих „сражений” большевиков, меньшевиков, ликвидаторов, отзовистов и т.п. Все эти „принципиальные” (!) оттенки не имели никакого смысла в глазах народа и ничем не обогатили русскую мысль, кроме права печатать в прессе грубую брань и издевательские личные оскорбления. Да и сами женевские революционные личности, каждая из которых претендовала на исключительное лидерство, заставляли Герцена тревожно думать о судьбе все еще дорогого ему дела — развития революционных идей в России. А *личности*, тогда еще

слабые и жалкие (не то, что во времена „культа“!), не зря тревожили Герцена — за ними было будущее. Конечно, не они заговорщически захватили власть в октябре 1917 г. и разогнали демократически избранное Учредительное Собрание в январе 1918 г., но именно *их ученики и последователи* проделали это, так же, как *их* духовные дети и внуки осуществляли террор 1918-1921 гг., отнимали у народа землю, по их же декрету переданную крестьянину „навсегда“, и отправляли на страдания и бессмысленную смерть в 1929-1931 годах миллионы людей „во имя нового светлого будущего“.

Страшный сюрреалистический портрет русского революционного деятеля мы знаем из „Бесов“ Достоевского. Герцена русская интеллигенция привыкла ставить совсем по другую сторону. Действительно, со страниц „Колокола“, достаточно снисходительно почитаемого русскими социал-демократами, Герцен выглядит вполне солидарным с революционными деятелями шестидесятых годов. Но там, где он не считал себя обязанным натягивать маску, — в частной переписке — портрет русской революционной личности выглядит совершенно по-другому:

„В Женеве отвратительно. Это город сплетен, ссор и гадостей“, „Ты думать не можешь, что здесь за мерзости творятся“, „Жабы появляются одна за другой... Посредством клеветы бесчестному и подлому Серно-Соловьевичу удалось возбудить против меня сборище негодяев, кретинов...“ (XXIX, 7, 20, 95, 99).

А. Серно-Соловьевич напечатал в Женеве специальную брошюру „Наши домашние дела“, в которой резко противопоставил Герцена и Чернышевского, называя их представителями „двух враждебных натур, не дополняющих, а истребляющих одна другую“. Еще не решаясь начать печатную по-

лемику, Герцен все настойчивее предупреждает Бакунина и Огарева о неизбежном крахе всей их общей деятельности, если молодая эмиграция встанет с ними под одно знамя. Посылая Бакунину брошюру Серно-Соловьевича, Герцен пишет 30 мая 1867 года:

Он наглый и сумасшедший, но страшно то, что большинство молодежи *такое* и что мы все помогли ему *таким быть*. Я много думал об этом последнее время и даже писал, не для печати теперь. Это не нигилизм: *нигилизм* явление великое в русском развитии. Нет, тут всплыли на пустом месте — халат, офицер, писец, поп и мелкий помещик в *нигилистическом* костюме. Это мошенники, оправдавшие своим сукиносинизмом меры правительства, невежды, на которых Катковы, Погодины, Аксаковы etc. указывают пальцами... Ты и Огарев, вы этих скорпионов откармливали млеком вашим — это верно. Caro mio — подумай. Им будущности нет, это меньший венерический брат, который умрет — и на его могиле встретится старший с еще более меньшим” (XXIX, 110).

Герцена пугает больше всего именно отсутствие идей, „пустота” в нигилистическом костюме и он наивно надеется, что будущие деятели перешагнут через это пустое поколение, встретятся, так или иначе, с теми, у которых всегда была программа и определенное, хотя и развивающееся мнение. О том, что революционная личность будущего — это именно и есть *некто* без идей в нигилистическом костюме, мог пророчествовать в те годы только гениальный ум Достоевского.

Обратим внимание на одну странную вещь: молодая эмиграция как могла демонстрировала, даже преувеличивая, свою несовместимость с Герценом, а сам Герцен и печатно, и в частных письмах подчеркивал свою связь с ними. Заканчивая издание „Колокола”, в декабре 1868 года он пишет в открытом опубликованном письме к Огареву:

„Есть молодежь, столь глубоко, бесповоротно преданная социализму, столь преисполненная бесстрашной логики, столь сильная реализмом в науке и отрицанием во всех областях клерикального и правительственного фетишизма, что можно не бояться — идея не погибнет” (XX, 399).

И это написано Герценом в то время, когда ту же самую „молодежь” он называет „партией мошенников”, „легкой бандой русских эмигрантов”, „вшами нигилизма”, „дрянным поколением”, „шайкой русских негодяев”, „стоком грязи”, „нашими милыми Сен-жюстами”, которые „перегрызут друг друга”, „нашими пердованными детьми”, „бездарной пеной”, „гнилью на корню”, „бездарными прыщами самолюбия” и т.п. (XXIX, 92, 93, 99, 101, 109, 124, 278, 312, 320, 323, 326, 330, 341, 359, 402, 428, 429). Можно только печально удивиться, что всегда, по его собственным словам, стремящийся к „истине” Герцен мог во имя какой-то мифической солидарности обманывать своих читателей.

Пытаясь лучше уяснить самому себе все более надвигающийся разрыв с молодым поколением, Герцен перечитывает роман „Что делать?”. Первый отзыв раздраженный и негодующий:

„Господи, как гнусно написано, сколько кривляния и что за слог! Какое дрянное поколение, которого эстетика этим удовлетворена. И ты (Огарев. — Е.Д.) хваливший — куртизан! Мысли есть прекрасные, даже положения — и все полито из семинарски-петербургски-мещанского урьльника *a la Niederhuber*” (XXIX, 157).

Но в процессе чтения и размышлений роман Чернышевского начинает нравиться Герцену: „в нем бездна хорошего”, „урод и мил”. Более всего привлекает Герцена „манера ставить житейские вопросы”. Ситуация пресловутого „любовного треугольника”, вокруг которого построен сюжет „Что делать”, во многом была похожа на семейные собы-

тия в доме Герцена. Чернышевский разрешил этот „треугольник” оптимистически и еще более радостную картину счастливых любовных отношений „без ревности и семейств” нарисовал в финале четвертого сна Веры Павловны. По определению Герцена: он (Чернышевский. — Е.Д.) оканчивает фаланстером, борделью — смело (XXIX, 167). Однако Герцен был очень далек от сочувствия подобным ситуациям в своем доме. Перебирая в памяти свое прошлое, в частности начало своих отношений с Тучковой-Огаревой, он во многом теперь винит себя:

„Зачем я... дерзко и необдуманно бросился на увлечение? Зачем я потом не пожалел детей? Ну за это я и унижен в своих глазах и страдаю... И ни ты (Огарев), ни Чернышевский в романе — вы ничего не разрешили в этом вопросе” (XXIX, 170).

Герцен постоянно тревожно спрашивает себя: как сказать старшим детям, что Лиза — его дочь, как объяснить самой Лизе, что папа Ага (Огарев) не отец ее, как избавиться от лжи перед окружающими. Он страдает от необходимости жить врозь с дочерьми, не одобряет женитьбу старшего сына на молоденькой итальянке, глубоко переживает самоубийство Ш. Гетсен, имевшей ребенка от Александра Александровича, отчуждение Ольги (она не умела даже читать по-русски). „Мы воспитывать не можем, — с грустью и тревогой пишет он Огареву. — Мы несчастны в частной жизни... и поделом” (XXIX, 25, 170).

Но если роман Чернышевского был совершенно неприемлем для Герцена как пропаганда новых семейных отношений, то он очень помог ему разобраться в истинной сущности молодого поколения: „Это очень замечательная вещь — в нем бездна от-

гадок и хорошей и дурной стороны ультранигилистов” (XXIX, 107). Он даже хочет написать статью об этом романе, видя в нем и „бездну хорошего” и „немалый вред”. Именно этот роман дает возможность Герцену объяснить и самому себе и Огареву, что дело не в личных качествах женевских эмигрантов, а в системе их взглядов на мир. „Это удивительная комментария ко всему, что было в 60-67, и зачатки зла тут же” (XXIX, 185). Доктринерство, самоуверенность, эгоистическое право поступать „как приятно”, грубость, презрение форм — все это как раз и составляло нравственную основу не только личного, но и общественного поведения героев романа Чернышевского. Именно с этим и столкнулся Герцен в его общении с молодой эмиграцией.

Вместо статьи о „Что делать” Герцен увлеченно пишет разбор статей Писарева. Этот „маккавей” петербургского нигилизма” помог Герцену понять „слабую и нагую верность типа” современного нигилиста. Тургеневский нигилист Базаров — это только предтеча, он мог быть и храбр и умен, а настоящий тип нигилиста сделал из тургеневского героя Писарев в статье „Базаров”. И Герцен горит желанием обличить женевскую „базаровщину”, открыть всем отвратительный идеал „всей ракальи нигилизмы”, „хлыстнуть в рыло” всех этих господ („молодых эмигрантов”) „разом под именем Базарова” (XXIX, 317, 326). Так в феврале-мае 1868 года создается сначала статья, а затем серия писем под условным названием „Базаров”.

„Тургенев с ними только пошутил — их надо выставить к позорному столбу — во всей наготе, во всем холуйстве и наглости, в невежестве и трусости, в воровстве и доношничестве. И может, если силы не ослабеют, я еще и буду их палачом и положу им клеймо глупости на лоб. Передняя, казар-

ма, застенок полицейский и дьячки могли только развести этот испанский воротник на шею России”, —

писал Герцен Огареву 29 апреля 1868 г., увлеченный своей работой (XXIX, 326).

К сожалению, эта редакция будущей статьи Герцена „Еще раз Базаров” нам неизвестна. Можно видеть из приведенных писем, что была она очень резкой по отношению к женевской молодежи, и Огарев отказался дать свое согласие на ее публикацию. А Герцен настаивал. Он убрал, по его признанию, из нее „aspérité” (жестокость) и считал „истинной” и „полезной”. В конце концов в „Полярной Звезде” за 1869 год появился, по-видимому, третий, еще более смягченный и потерявший всякую полемическую остроту вариант двух писем Герцена о Базарове, где главной целью стала полемика с писаревской идеей противопоставления безвольных Рудиных волевым Базаровым. Осудить нигилизм в том понимании этого слова, которое вызывало резкую враждебность Герцена, то есть революционный нигилизм, террористический нигилизм, Герцену пока что не удалось, не удалось надеть на них (женевских эмигрантов) „дурацкую шапку”.

Расхождение с женевскими революционерами тем более раздражало Герцена, чем более Огарев склонялся на их сторону. Он не только не осуждал пропаганды, образа мыслей и действий молодой эмиграции, но сам в ряде прокламаций и агитационных стихов этого времени призывал к решительным действиям, восстанию и насилию. В одном из своих обращений к Герцену (а Огарев не раз упрекал своего старого друга в измене идеалам их общей революционной молодости) Огарев писал:

„Террор, предполагавшийся декабристами, был беспощаден... Почему же тебе их пути не казались страшными? А как

скоро эти пути переходят в террор крестьянский и рабочий — они тебе кажутся страшными... Ты все пугаешься перед словом разбой или грабеж (и даже коммунизм...) ...я давно говорю, что разбой может быть и не быть, может явиться как частный случай восстания — ради его спасения...”*

Нет, Герцен не мог принять таких „путей” ни в „частном случае”, ни как суровую необходимость. И даже не только в силу обыкновенной человеческой порядочности и отвращения от проповеди кровавого насилия — Герцен в *принципе* был уверен в бессмысленности жертв и в невозможности восстановить справедливость несправедливыми методами. В известном цикле „Письма к старому товарищу”, который В.И. Ленин в его полемике с бакунизмом однобоко пытался использовать как доказательство „поворота” Герцена к 1-му Интернационалу, содержится в действительности последовательная, остро публицистическая программа полного отрицания целесообразности революционного социализма.

„Насилием и террором распространяются религии и политики, учреждаются самодержавные империи и нераздельные республики, насилием можно разрушать и расчищать место — не больше. Петрограндизмом** социальный переворот дальше каторжного равенства Гракха Бабёфа и коммунистической барщины Кабе не пойдет” (XX, 578), —

пишет Герцен в абсолютно твердой уверенности, что никакой народ не примет по доброй воле предлагаемое Бакуниным и Огаревым послереволюционное общество. И далее иронически (но, увы, про-

* Литературное Наследство, т. 61, с. 204.

** Петрограндизмом Герцен неоднократно называл насильственное, диктаторское преобразование государства в духе Петра Великого.

рочески!) он замечает: если бы бакунинское „обязательное братство”, уничтожение собственности и семьи и было провозглашено, пришлось бы начать „новую жизнь с сохранения социального корпуса жандармов”.

Герцен возражает не только против конкретной идеи немедленного воцарения на Руси „Стеньки Разина” (народной воли), но вообще против всяких насильственных методов „освобождения гильотиной”.

„Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять шаг людской в былом и в настоящем, для того чтобы знать, как идти с ним в ногу...” (XX, 586).

Таким образом Герцен ставит себя именно со стороны народа, его реального положения и возможностей. Революционные личности как раз и осуждаются Герценом за авантюризм, столь же бессмысленный, сколь и опасный для человечества:

„Тот, кто не хочет ждать и работать, тот идет по старой колее пророков и прорицателей, иересиархов, фанатиков и цеховых революционеров... А всякое дело, совершающееся при пособии элементов безумных, мистических, фанатических, в последних выводах своих непременно будет иметь и безумные результаты...” (XX, 582).

Так пишет в конце своего жизненного пути бывший революционер и убежденный „социалист”.

Герцен и раньше всегда находил мужество „казнить” в себе „свои прежние верования”, когда убеждался в их несоответствии „истине”. Осуждая теперь революционный социализм, он увидел страшную опасность получить после переворота, после восстания, к которому так настойчиво призывали Огарев и Бакунин, еще большую несправедливость и неравенство, большие страдания для народа, чем это имело место при современном ему обществен-

ном порядке. Существенную роль в этом прозрении Герцена сыграло именно общение с деятелями, готовящими революции. Молодая эмиграция испугала его общей своей безнравственностью, бесконечными ссорами, размежеваниями, узким сектанством, неразборчивостью средств, демагогией, руганью — „разнуздыванием дурных страстей”.

Призывы „идти на какой-то бессмысленный бой разрушения”, совершенно не представляя себе, что будет потом, провели резкую черту между Герценом и его „старыми товарищами” — Бакуниным и Огаревым. Герцен с отвращением отвернулся от кровавого и грязного пути революционного „обновления”, противопоставив ему „проповедь неустанную, ежеминутную” как это было в те давние времена, когда новая нравственность — христианство — „проповедовалось чистыми и строгими в жизни апостолами и их последователями” (XX, 592). Только проповедь — „великое дело любви”, обращенное „не только своим, но и противникам”, может спасти мир от грядущей катастрофы революции. Именно *катастрофы*, иначе себе не представляет Герцен результатов надвигающегося возмущения масс, ибо „с капиталом, собранным ростовщиками, погибнет другой капитал, идущий от поколения к поколению, и от народа народу. Капитал, в котором оседала личность и творчество разных времен, в котором сама собой наслои́лась летопись людской жизни и скристаллизовалась история. Разгулявшаяся стихия истребления уничтожит вместе с межевыми знаками и те пределы сил человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях с начала цивилизации” (XX, 593).

Для нас, людей середины XX века, разумеется, нет никакого открытия в этих суровых словах. Мыто знаем, как после октября 1917 г. в России унич-

тожалась нравственность и религия „проклятой царской России“; как „разгулявшиеся“ и все набравшие силу вырожденки давидовы (вспомним „Поднятую целину“ — Е.Д.) ломали хребет русскому крестьянину, чьей трудовой „летописью“ жила и кормилась Россия из поколения в поколение; как теперь окончившие университеты дети давидовых продолжают дело уничтожения настоящих „сил“ и возможностей человеческих во имя сохранения в России фиктивной культуры и „доходных мест“ для них самих и их потомства. Герцен не мог предвидеть всех этих страшных подробностей, но его острый аналитический ум, враждебный экстремизму и дон-кихотской однолинейности, сумел разглядеть за густым туманом революционно-социалистических воззваний угрожающие контуры будущих диктаторских режимов, обретение силы и власти которыми поставило бы под угрозу „начала цивилизации“.

„Письма к старому товарищу“ написаны Герценом как раз незадолго до Базельского конгресса I Интернационала, к которому Герцен якобы „повернул свои взоры“ — по интерпретации В.И. Ленина. Конгресс состоялся 6-11 сентября 1869 года. Герцен, непрерывно переезжавший в это время из одного европейского города в другой, не поехал в Базель и предпочел, по его собственным словам, „следить“ за конгрессом из Брюсселя. Главной фигурой этого конгресса, по крайней мере в глазах Герцена, был Бакунин. Именно его позиция более всего и интересовала Герцена. (О выступлениях Маркса он даже ни разу не упомянул). С программой Бакунина по вопросам земельной собственности, прав наследия, уничтожения семьи Герцен был резко несогласен. Более всего неудовольствия вызвала у него полемика Бакунина с французскими

делегатами А.-Л. Толеном и Ланглуа по поводу прав „коллектива” и „отдельных лиц” в будущем справедливом обществе. Для Бакунина, страстно ожидавшего скорейшей „социальной ликвидации”, важным моментом был призыв к созданию „рабочих кооперативных ассоциаций”, чья коллективная воля могла бы обеспечить в будущем равенство и справедливость. Герцену эти идеи Бакунина были явно враждебны. „Что Бакунин так старается стереть личность? — спрашивает он у Огарева и, снова возвращаясь к идеям „Писем к старому товарищу”, продолжает: „Этим путем можно дойти до того, что из человека выйдет мешок пищеварения — в полипнике, устроенном так, что все будут сыты. Или, может, это-то и будет конечная форма”, — иронически замечает Герцен (XXX, 198). Прибавим теперь: „стереть личность” — это, может быть, и есть необходимое и достаточное условие для благоденствия тоталитарно-социалистических режимов всех оттенков, вот только накормить особей в своих „полипниках” они почему-то не могут.

Однако при всех тревожных раздумьях о будущем и предостерегающих публицистических пророчествах Герцен все-таки не верил, что история человечества может пойти „разнузданием дурных страстей”, „вырезыванием языков”, „резней из-за угла”. Он считал, что прошлый опыт должен остановить людей от бессмысленных жертв и преступных разрушений. Герцен полагал, что и бакунинские, и огаревские призывы к восстанию — всего-навсего „дерзкие и вредные фразы”, „грешные мечты” „слишком старых и слишком молодых”. Тем не менее русское революционное движение переживало в тот период отнюдь не мечтательную фазу. Менее чем через полгода было суждено произойти событиям, которые открыли собой начало именно

того нового этапа в русском революционном движении, когда обман и провокация, предательство своих и обращение к любимым методам для достижения цели станут главным оружием в борьбе за власть над людьми.

III

1 апреля 1869 года Н. Огарев написал Герцену, что „от одного студента, только что удравшего из Петропавловской крепости”, он получил на имя Герцена послание, которое можно напечатать в „прибавлении” к „Колоколу”. Речь шла о С.Г. Нечаеве, который как раз в это время появился в Женеве и привез для печати свою прокламацию „Студентам Университета, Академии и технологического института”.

Как стало позже известно, Нечаев, действительно активно участвовавший в студенческих беспорядках весной 1869 года, не попал, однако, под арест, но уже тогда начал создавать легенды вокруг собственной личности. Этот 22-летний малообразованный человек сумел совершенно покорить силой своего всеразрушающего энтузиазма и Бакунина, и Огарева. Герцен же, прочитав прокламацию Нечаева, нашел ее просто плохой: „ни к черту не годится” — и не мог понять, что „за ослепление и неразумье” нашло на Огарева. С Бакуниным Герцен к этому времени окончательно разошелся, прочитав его прокламацию „Несколько слов к молодым братьям в России”, призывавшую к разрушению государства и к „воцарению Стеньки Разина”, то есть „истинной народной воли”.

В конце апреля Огарев сообщил Герцену, что С.Г. Нечаеву необходимо срочно с ним повидаться.

Хотя Герцен и продолжал иронизировать по поводу этой выдуманной срочности и таинственности, однако он все же поехал в Женеву и пробыл там с 10 по 17 мая 1869 года. Нет данных утверждать, что встреча Герцена и Нечаева состоялась, однако печально знаменитый нечаевский мандат: „Податель сего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза, 2771” — датирован 12 мая 1869 г. Именно 11-12 мая происходили крупные споры Герцена, Бакунина и Огарева и по поводу Бахметьевского фонда (половинную, огаревскую, долю которого Герцен выделил и передал в полное распоряжение Огареву, а тот вручил деньги Нечаеву) и по поводу „мандата”. Сохранилась датированная, но непонятно кому адресованная записка Герцена:

„Бакунин, как старые нянюшки, и попы всех возрастов, любит пугать букой — сам очень хорошо зная, что бука не придет... Бакунину хотелось за пояс заткнуть утячий клоповник (сторонников Н. Утина. — Е.Д.) и пустить такую дрожь на всю Россию, что там за университетами закроют типографии... Вещь эта произведет бездну беды. Но разумеется, Бакунин имеет право поступать по собственному убеждению, я только в одном не сомневаюсь, что он подпишет этот фактум” (XXX, 109-110).

Действительно, Бакунин подписал фальшивый мандат Нечаеву, но подпись его была единственной. Не только Герцен, но и Огарев подписей не дали. Это было, пожалуй, последнее согласие между Герценом и его старым другом. Через несколько недель Герцен уже вынужден был признать, что Огарев „стал такой кровожадный — что и Бог упаси. — Пугачают и стращают” (XXX, 138). Не имея сил протестовать и боясь все же дойти до печатных „протестаций”, Герцен старался вообще уйти от русских дел, искал европейских знакомств, возможностей

включения во французскую левую прессу и начал даже повесть из французской жизни 1848 года („Доктор, умирающий и мертвые”). А в это время в Женеве шли бурные обсуждения предлагаемой Нечаевым революционной тактики. Он привез с собой составленный из смеси самых крайних теорий и иезуитских идей „Катехизис революционера”*, где провозглашал:

„Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение... соединимся с диким разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России...”

О самом деятеле „Народной расправы” в „Катехизисе” мы читаем: „беспощаден для государства” и от него „никто не должен ждать для себя никакой пощады”. Разделяя революционеров на „разряды”, признавая необходимой при этом бесследную гибель большинства после совершения ими „практического дела” для того, чтобы произошла „революционная выработка немногих”, „Катехизис” провозглашал:

„Все нежные изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем (революционере) единою холодной страстью революционного дела”.

После таких слов нет ничего удивительного, что революционеру предлагалось прямо грабить, запугивать, обманывать и даже „эксплуатировать” „личностей” ради „пользы революционного дела”.

* В советской исторической науке было много споров об авторстве „Катехизиса”. Однако в настоящее время можно считать авторство Нечаева документально доказанным. См. статью А. И в а н о в а „Кто автор „Катехизиса” — „Новый журнал”, кн. 123, Нью-Йорк, 1976.

Последующие поколения русских революционеров немного стеснялись этого впечатляющего документа, некоторые из них даже осуждали его за слишком наивную откровенность, но каждый, кто всерьез задумается над революционными лозунгами и принципами большевистской программы захвата власти во что бы то ни стало и над дальнейшей фракционной борьбой в РСДРП—ВКП(б)—КПСС, без всяких натяжек найдет в истории этой партии те же самые нечаевские приемы. Достаточно вдуматься в экстратипический образ, данный А.И. Солженицыным в его поразительной книге „Ленин в Цюрихе”, чтобы ясно представить себе, каков был в своем развитии к началу XX столетия тип русского революционера, которому (увы!) было предназначено воплотить в дело те бескомпромиссные принципы кровавой „справедливости” и беспощадного „гуманизма”, о которых бредил Бакунин, сидя в Женеве, и которые пытался осуществить Нечаев под Москвой.

Герцен не проявлял интереса ни к „Катехизису революционера”, ни к Нечаеву вообще. Он считал нечаевщину, как и всю волну студенческих революционных выступлений в 1869 году, результатом бакунинской пропаганды. В июне 1869 года он пишет старшей дочери:

„...русская молодежь принимает au pied de la lettre его (Бакунина) программы. Студенты собираются составлять разбойничьи банды. Бакунин советует жечь все документы — уничтожать вещи и не щадить людей” (XXX, 134).

Чем дальше, тем больше ужасали его не только подробности (от которых он отрекся сразу: „жечь”, „резать”, „грабить”), но сам принцип революционного переворота:

„Мне наконец и эта государственная деятельность на

уничтожение государства — и это казенно-бюрократическое устройство уничтожения вещей — сдается каким-то delirium'om tremens (белой горячкой). В Nancy я посмотрел, как и в Страсбурге, — на изуродованные статуи-памятники, и мне жаль стало якобинцев, что они так пакостничали” (XXX, 145).

И вместе с тем Герцен уловил в бакунинско-нечаевско-огаревском „триумвирате” зачатки диктаторско-бюрократической системы, которую он ни в какой степени не мог признать разумной и справедливой. Другое дело, что Герцен не верил в возможность осуществления нечаевско-бакунинской программы. Уже, по-видимому, после отъезда Нечаева из Женевы в Россию, но еще до получения сведений о деятельности Нечаева из русских газет, Герцен писал Огареву:

„В логической консеквентности ты и отчасти Бакунин, вы правы — но так как события идут иным путем, то вы и останетесь предтечами. Ни одной йоты из вашей программы не осуществится в два, три поколения” (XXX, 195).

Увы! А.И. Герцен ошибся!

Скорее всего, Бакунин и Огарев даже и не прочитали тогда зашифрованного „Катехизиса” и не было никакого серьезного обсуждения его. Были только разговоры и взаимное распаление революционных страстей. Брошюры, статьи, листовки и даже стихи с призывами жечь, резать, отнимать, „социально ликвидировать” и т.п. чуть ли не ежедневно исходили из бакунинского дома. Нечаев своей фантастической энергией подействовал на старых революционеров как фермент. Огарев переделывает свое стихотворение „Студент”, написанное в память старого студенческого друга С. Астракова, и печатает его в виде листовки под названием „Молодому другу Нечаеву”. Также в виде листовки он печатает стихо-

творение „Посвящено духовенству”, где имелись следующие строки от имени русского крестьянина:

Я возьму косу, косу вострую
Да смету вас всех, моих начальников,
Моих предателей, моих начальников,
И поверь, тогда, без вашей подготовщины,
Проживем и проверуем безо всякой поповщины.

По поводу этих стихов Герцен не без иронии замечал своему другу, что „косить еще никто не готов” и что „ты с Бакуниным в вашей истине столько же далеки от истины прикладной...” Как бы то ни было теория теорией, а Нечаев с мандатом Бакунина от имени вымышленного революционного центра отправился в Россию убеждать мужиков „косить” и жечь на практике и „кровью” скреплять верность революционному делу (убийство Иванова). В ноябре в „Московских ведомостях” начали появляться статьи об этом убийстве. 25 декабря стала ясной суть дела: убийство студента Иванова было подготовлено и осуществлено Нечаевым с четырьмя сообщниками, поскольку Иванов отказался повиноваться Нечаеву и, по мнению последнего, „мог донести” о существовании „пятерки”. Сообщники Нечаева, как известно, были схвачены и предстали перед открытым судом, а сам Нечаев успел скрыться и в начале января 1870 года снова появился в Женеве у Огарева и Бакунина.

Еще не зная всех подробностей дела, Огарев снова обратился к Герцену с просьбой принять Нечаева и выдать ему из Бахметьевского фонда еще 5000 франков. И это несмотря на то, что он уже сам признавал, что „во многом с ними не согласен”. Герцен ответил, что видеть „юношу” может и „мужеству” (!) его „отдает полную справедли-

вость”, но „деятельность его и двух старцев” (Бакунина и Огарева) считает „положительно вредной и несвоевременной” (XXX, 299).

Через две недели Герцен внезапно умер. Огарев и Бакунин, по мере того как становились ясными подробности нечаевских дел в России, не могли не отречься от методов своего любимого ученика.

„Я и мы все горячо любим и уважаем Вас, именно потому, что никогда не встречали человека, столь отреченного от себя и так всецело преданного делу, как Вы. Но ни эта любовь, ни это уважение не могут помешать мне сказать Вам откровенно, что система обмана, делающаяся все более и более главной, исключительной системой, Вашим главным оружием и средством, гибельна для самого дела”, — пишет Нечаеву Бакунин*.

Старый дворянский революционер мог „пугачать и стращать” (по меткому выражению Герцена), мог проповедовать „светопреставление”, призывать к „ликвидации” и „экспроприации”, но пренебречь личными моральными принципами для осуществления собственной диктатуры было для него невозможным. Даже восхищаясь „самоотверженным изумверством” Нечаева, Бакунин не мог принять той разработанной им демагогической системы, по которой каждый обязан следить друг за другом и доносить вышестоящему, а малейшее инакомыслие даже внутри „пятерки” должно было караться смертью как „измена” делу. Бакунин был и оставался всегда „идеалистом” революции. Значение тайной полиции в этом деле поняли и оценили „материалисты”. Нечаев был одним из первых. И Бакунин понял это.

„Вы... влюбившись в полицейские и иезуитские начала и

* Цит. по книге Н. М. П и р у м о в о й „Михаил Бакунин. Жизнь и деятельность”, Изд. 2-е, 1970, сс. 175-177.

приемы, вздумали основать на них свою собственную организацию, свою тайную коллективную силу... вследствие чего поступаете с друзьями как с врагами, хитрите с ними, лжете, стараетесь их разрознить, даже посорить между собой, дабы они не могли соединиться против Вашей опеки...”*, — писал он вскоре после второго появления Нечаева в Женеве, словно предчувствуя „славный”, „героический” путь ВЧК, ГПУ, МВД, КГБ...

Последний удар ждал Герцена в собственном семействе. Старшая дочь Наталия, на которую он всегда возлагал самые большие надежды как на хранительницу семьи, после, казалось бы, случайного и неглубокого любовного увлечения неожиданно впала в тяжелое психическое расстройство. Герцен воспринял этот трагический факт в системе всех его предыдущих семейных несчастий и как тяжелую кару за свою прежнюю теорию и практику „реабилитации плоти”. Перебирая в памяти горький опыт их теперь объединенного семейства, он пишет Огареву:

„Ну вот тебе и свобода в воспитании женщины. Ну вот и отсутствие авторитета, анархия и пр... и пр... Оглянись назад *sine ira et studio*. Вспомни смело все от Марьи Львовны**, от покойной Natalie до Park House и Теддингтон*** и скажи, откуда все удары и бедствия. От мужского пьянства и дебоширства и женского *несовершеннолетия*, — которое без мартингали (узды) бьет и убивает все вокруг” (XXX, 239).

А через несколько дней, не без оснований связывая свободные взгляды на любовь и семью с разрушающими общественными идеями, Герцен, как и всегда, не боясь и в „общем” и в „частном” остано-

* Там же.

** Мария Львовна — первая (оставленная) жена Огарева.

*** Park House и Теддингтон — лондонские адреса, где Герцен и Огаревы жили объединенным семейством.

виться „перед выводами и правдами”, советует Огареву:

„Да кстати — вместе со всеми Нечаевками — отрекись от абортивных освобождений, — в истории можно забегать — но уж тогда отвыкни жалеть погибающих, жалеть личности. И действительно, ни Пугачев, ни Марат их не жалели. Что за вздор проповедовал ты (и я) о полной свободе не только в выборе, но и перемене... Смотри теперь кругом на развалины” (XXX, 249).

Уже после того, как все опасности в состоянии дочери миновали и она стала быстро поправляться, Герцен подвел печальный итог своей жизни, снова соединяя личное и общее:

„Мы сложились разрушителями, наше дело было полоть и ломать, для этого отрицать и иронизировать — ну и теперь после пятнадцати, двадцати ударов, мы видим, что мы ничего не с о з д а л и , ничего не воспитали. Последствие — или по просторечию, наказание — в окружающих, в отношениях к семье — пуще всего к детям... Я смотрю ненужно верно и вижу страшно верно” (XXX, 271).

Так писал Герцен за несколько недель до своей смерти. То, что он действительно смотрел „страшно верно” и предвидел еще многие страшные последствия тех нравственных „освобождений”, которые вместе с Огаревым теоретически и практически осуществляли они в собственном доме, подтвердилось еще одной трагедией, разразившейся после смерти Герцена. Семнадцатилетняя Лиза Герцена-Огарева, воспитанная в полной свободе от религиозных начал (не была даже крещена) и „устаревших” моральных обязанностей, беспричинно и вызывающе покончила жизнь самоубийством, оставив нелепую записку. Атмосфера революционного нигилизма и атеизма с самого детства, невольная ложь родителей, семейные раздоры и постоянные разговоры о какой-то новой нравственности в юности совершен-

но исказили сознание девушки. Это была еще одна личность, погубленная на пути к осуществлению „светлых снов” Веры Павловны Лопуховой-Кирсановой.

Все понимая в последние годы своей жизни, Герцен неслучайно неоднократно повторял: „в детях главная казнь”. Это в равной степени может быть отнесено и к детям по плоти и к духовным детям — идеологическим наследникам. Огарев и Бакунин всей своей деятельностью произвели для России страшного духовного сына — Нечаева, от которого начинается кровавый путь террора, демагогии, обмана, предательства в качестве средств, которые „оправдывают” „великие” цели революции. Герцен успел понять и отречься от такого наследника, а вместе с тем и от самого себя, от своих прежних революционных теорий, растлевающие нравственные последствия которых он воочию увидел в своих духовных детях — женевской эмиграции. Сколько мужества надо было иметь, чтобы признать поражение всей своей революционной деятельности и написать по адресу не только молодых революционеров, но и по своему собственному такие жестокие и горькие слова:

„Они развиваются. Катковы и Чичерины, Горчаковы — пьяные и Бярятинские трезвые — все лучше и нравственнее этих негодяев, этого сифилиса нашей революционной блудни” (XXIX, 330).

Они развились, — прибавим мы, с грустью и тревогой глядя на Россию более чем через 100 лет. Да, конечно, „свирепые” реакционные бюрократы, ссылавшие революционеров в Сибирь, и либеральные журналисты, обличавшие их в прессе (которых Герцен считал своими врагами), не могли причинить русскому народу и одной тысячной тех страданий,

сколько наследники Базаровых и Нечаевых. А ведь „сифилис-то” в значительной степени пошел от них же самих, от издателей „Колокола”, от их революционного „блуда”. В сознании этого и была главная трагедия Герцена. К чести его мы можем теперь сказать: последние два года своей жизни он пытался как мог бороться с этой нарастающей язвой, даже тогда, когда в этой борьбе шел против себя самого.

ПОЛТЫСЯЧИ ИМЕН

„Хотя в помощь читателю, владеющему русским языком, существуют советские энциклопедии и, прежде всего — „Краткая литературная энциклопедия“, однако содержащаяся в них информация преподносится в соответствии с идеологическим принципом подчинения науки директивам коммунистической партии, что приводит к существенному смещению акцентов при подаче фактов, а также к неполноте изложения”.

Так пишет проф. Кельнского университета Вольфганг Казак в предисловии к своему справочнику „Русская литература с 1917 года“ (с. 5).

Объемистая книга самого В. Казака (457 с.), разумеется, лишена этого партийного порока; она дает неискаженную картину живой русской литературы — как советской, так и зарубежной — почти за 60 лет (1917-1975).

Справочник содержит 553 статьи, 495 из них посвящены отдельным писателям. Кого тут только нет! И жесткий правдолюбец Александр Солженицын, и знаменитый псевдоказак Михаил Шолохов, и напрочь забытый „левый коммунист“ Михаил Чумандрин (кто помнит нынче этого замухрышку?), и замечательный поэт Борис Поплавский, погибший от героина — в нищете, в парижской трущобе.

Каждая статья о писателе построена так: а) биографические данные; б) сведения о творчестве, его оценка; в) библиография (русская и немецкая, а также перечень критической литературы).

В справочнике представлены только прозаики, поэты и драматурги; чистые критики, литературоведы и переводчики отсутствуют.

Справочник снабжен „Именным указателем“, — он очень полезен, поскольку в статьях приведены многочисленные перекрестные ссылки.

Wolfgang Kasack. Lexikon der russischen Literatur ab 1917. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1976.

О каждом писателе автор пишет по существу, со знанием предмета и — нелицеприятно, каким бы подонком и подхалимом этот писатель ни был. Так, например, в статье о Михаиле Шолохове он осторожно сообщает чужое мнение, что, мол, „Тихий Дон” — плагиат, что подлинный автор романа — „белогвардеец” Федор Крюков, а лепта Шолохова весьма скромна: 5% в двух первых частях и 30 % в двух последних.

Вперемежку с упомянутыми 495 статьями об отдельных писателях в справочнике включено еще 58 обзорных статей: о различных литературных течениях и объединениях, о писательских съездах, о советской и зарубежной периодике. И выплывают из небытия имажинисты, кубофутуристы, серапионовы братья, а также все эти ВАПП’ы и РАПП’ы, оживают литературные диспуты и споры 20-х годов, которые, впрочем, часто (и чем дальше — тем чаще) сводились к одному: как лучше и эффективнее лизать партзадницу? Диспуты и споры, склоки и доносы...

Обращаю внимание читателей на статьи: „Постановления партии о литературе” (с. 282), „Реабилитация” (с. 313), „Самиздат” (с. 331), „Союз писателей СССР” (с. 337), „Социалистический реализм” (с. 375).

Хочу только отметить существенную ошибку в статье „Самиздат”: Самиздат возник не в 1966 году, как утверждает автор, он существовал и раньше, еще до второй мировой войны, — само слово „самиздат” изобрел мой близкий друг, удивительный поэт Николай Глазков (он не упомянут в справочнике, а жаль!) — в 1939 году! А с 66-го пошел массовый Самиздат...

Конечно, автора можно бы упрекнуть в некоторой неполноте. В справочнике отсутствует не только Николай Глазков (который, подобно айсбергу, лишь чуток высовывался над поверхностью), но и другие весьма весомые поэты: Евгений Агранович, Александр Свирин (Шапиро), Юлиан Долгин, Иван Хрусталев. Впрочем, из какого источника почерпнуть кельнскому профессору сведения об их тайной жизни?

Не попал в справочник и уникальный писатель Венедикт Ерофеев, что вполне простительно: его поэма „Москва-Петушки” была обнаружена в недолговечном иерусалимском альманахе „Ами” (в 1973 году), отдельное же изда-

ние появилось только в 1976 (парадокс: сперва на французском языке!).

В заключение замечу: книга Вольфганга Казака — не единственный немецкий справочник по русской литературе после Великой Октябрьской Катастрофы. Вот, например, трехтомник Хельмута Оллеса „Литература 20-го века”, который так и пестрит русскими именами. Но этот трехтомник (если говорить именно о русской ветви мировой литературы) куда беднее: и по числу приведенных писателей, и по охвату тех, что приведены. Четыре цифры: Анне Ахматовой Вольфганг Казак отводит 157 строчек, а Хельмут Оллес — 35, Михаилу Шолохову соответственно: 122 и 47.

И последнее. Книга Вольфганга Казака задумана как справочник. Она и есть справочник. Но одновременно — и документальная повесть о великой трагедии великой литературы. О судьбах русских писателей — тех, что заглохли и задохнулись в мегатоннах большевистского навоза, пышно гниющего под Солнцем Сталинской Конституции. И тех, что окаменели в креслах Кремлевского Дворца Съездов. И тех, что нашли горький приют в чужих городах. Мартиролог...

Вольфганг Казак любит Россию, любит ее литературу. Но недаром извечна рифма: любовь — кровь.

Юрий Иофе

Редактирует Редакционная Коллегия
Главный редактор Н.Б. Тарасова
Ответственный секретарь Д.А. Мусина

Адрес редакции журнала „Грани”:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheidweg 15,
D 6230 Frankfurt/M. 80

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*
- просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

**А. Kandaurow c/o «Possev-Verlag»
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80**

К настоящему времени выпущены следующие сборники «Граней»:

- Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
- Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86
- Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77
- Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70
- Сборник № 5 — избранное из №№ 53-68

Редакция

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 48 н. м.
через магазины — 60 н. м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

и

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ · ИЗБРАННОЕ

В издательстве: «Посев» (12)
и «Вольное слово» (4) — 75 н. м.
«Посев» (12) — 60 н. м.

Через магазины: «Посев» (12)
и «Вольное слово» (4) — 90 н. м.
«Посев» (12) — 72 н. м.

Доплата за воздушную доставку:

«Посев» и «Вольное слово» зона I — 24 н. м.
зона II — 36 н. м.
«Посев» зона I — 20 н. м.;
зона II — 30 н. м.

I зона — Северная Америка и Ближний Восток
II зона — Южная Америка и Дальний Восток

СТОЙМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:

«ГРАНИ» — 15 н. м., «ПОСЕВ» — 6 н. м.
«Вольное слово» — 6 н. м.

В США и Канаде, при теперешнем курсе доллара
около двух марок, следует цены, для определения их
в местной валюте, делить на два

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
или на почтовый счет
Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.